СИНТАКСИС

27

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

27

ПАРИЖ

1990

Журнал редактирует:

М. РОЗАНОВА

The League of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз, Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов, М. Окутюрье, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд

Московский представитель журнала – Татьяна ТОЛСТАЯ

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции

© SYNTAXIS 1990

Адрес редакции:

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Вадим Линецкий

О РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАТРИОТИЗМЕ

По меньшей мере последние полтораста лет доминантой русской жизни является патриотизм. В истории России это период крайней нестабильности, перманентного кризиса, ставшего нормальным состоянием для русского общества. Выхода из него не предвидится. Как не предвидится и конца разговорам о патриотизме.

А между тем это странно. Если верить словарям, патриотизм есть любовь к родине. Может показаться, что у нас ничем так охотно не занимаются, как объяснениями в любви к России. Для некоторых это стало профессией, надо полагать, весьма доходной. Иные – преимущественно литераторы – раскрылись в этой своей – патриотической – ипостаси, смею думать, гораздо полнее, чем в том, что они написали – художественного. Спрашивается: как уживается эта, судя по всему, такая горячая любовь к родине – с одной стороны, и – бедственное состояние этой самой родины, с другой? Англия, или вот, скажем, США – не чета России: это страны куда как благополучные. Естественно предположить, что американцы любят свою страну. И тем не менее любовь к капиталистическому отечеству не заставила еще ни одного американского писателя бомбардировать конгресс отчаянными письмами. Да и большинство рядовых граждан "там", насколько можно судить "отсюда", отно-

сятся к этой теме достаточно спокойно. Выходит, патриотизм патриотизму — рознь? И русский национальный патриотизм — это совсем не то же самое, что патриотизм американский? Но коль скоро это так, существует ли патриотизм как таковой, патриотизм как чистое понятие? Ведь существует просто любовь, идеальное понятие любви, с каковым можно соотнести ее конкретное проявление. Все мы любим по-разному. Кто как может. И трудно требовать от человека по натуре флегматичного, чтобы он "кипел страстью".

Хотя это и не значит, конечно, что он любит меньше или хуже. Но вот несовершенство нашей любви — если от нас ждут не такой любви, какую способны дать мы, — заставляет страдать, ломает судьбу. Историческая судьба России — сплошная череда трагедий. Выходит, русский национальный патриотизм ущербен, в нем есть изъян.

Чем несчастнее близкий человек, тем сильнее его любишь. Именно потому и любишь, что видишь, как ему тяжело. И это естественно. Но не следует поспешно выводить отсюда какое-то особое качество русского патриотизма. Надеюсь, очевидно, что история страны не существует отдельно от истории народа. Поэтому, когда я говорю об истории России, я имею в виду историю русского народа, его судьбу. И вот эту-то судьбу, отмеченную нескончаемыми страданиями и унижениями, винить в которых нашему народу приходится только самого себя, русские патриоты именуют не иначе, как великой судьбой. Что ж — великой своими несчастьями? Отнюдь. В первую очередь великой своими свершениями. Применительно к людям это обычно называется комплексом неполноценности. Применительно к патриотизму это следует назвать коллективным комплексом неполноценности, превращающим русский патриотизм в совершенно особое явление, присмотреться к которому — цель настоящей статьи.

Впрочем, мне возразят: а не подменяю ли я понятия, не выдаю ли официозный патриотизм за патриотизм как таковой? Славянофилы прошлого века не раз сетовали на то, что многие понятия, заимствованные нами из Европы, как-то странно преломляются в русской среде, пока не расстаются со своим первоначальным смыслом. Если речь идет о таких вещах, как либерализм и т.д., то о справедливости славянофильских наблюдений еще, пожалуй, можно спорить. Но что бесспорно, так это

то, что патриотизм в России приобрел новый смысл. Мы гордимся тем, что в британской энциклопедии словарная глава "интеллектуал" имеет особую подглавку – "русский интеллигент". На это есть веские основания. Но с не меньшими основаниями составители этой знаменитой энциклопедии могли бы снабдить главу о патриотизме подглавкой – "русский патриотизм". Русский патриотизм – это именно русский патриотизм, т.е. не просто любовь к родине, а любовь к русскому государству. А потому он изначально официозен и представляет собой то, что в других языках называется национализмом. Поэтому для русского человека совершенно естественно любить родину и не быть патриотом.

Стоит вдуматься в известные слова Вл.Соловьева – "лучше отказаться от патриотизма, чем от совести". Бесспорно – лучше, хотя почему, собственно, совесть должна противоречить патриотизму? Очень, конечно, может быть, что англичанину и не приходится выбирать между совестью и патриотизмом. Но что русскому приходится решать эту дилемму на каждом шагу, – это уж точно. И надо заметить, что в такое противоречие с совестью русский патриотизм пришел не сегодня и не вчера.

В "Записках" княгини Екатерины Романовны Дашковой есть такой эпизод. По пути в Берлин (а целью ее путешествия было: "ознакомиться с городами и выбрать наиболее подходящий для получения образования детям") Дашкова остановилась в Данциге, в гостинице "Россия"; стены столовой в ней украшали картины, представляющие битвы, проигранные русской армией. Дашкова была возмущена этим обстоятельством: как посмели эти пруссаки помнить, что их войска били русских. И вот: "я спросила нашего поверенного в делах Ребиндера, как он такое терпит. Он объяснил это своим нежеланием вмешиваться, добавив, что граф Алексей Орлов, проезжавший через Данциг и останавливавшийся в этой гостинице, очень рассердился, увидев картины.

– И он не купил их и не бросил в огонь? – воскликнула я. – По сравнению с ним я очень бедна и не в состоянии делать подобные покупки... и все же я знаю, что нужно предпринять!

...После ужина мы втроем (вместе с секретарем русской миссии Волчковым и советником Штелиным. – В.Л.), хорошенько заперев комнату, чтобы нас не застигли за нашим занятием, перекрасили форму войск, и пруссаки, изображенные

победителями, превратились в побежденных... Через день я покинула Данциг, но перед отъездом показала нашему резиденту чудесное превращение. Не знаю, что сказал хозяин гостиницы, увидев, что пруссаки проиграли обе битвы... но я была чрезвычайно довольна своей дерзкой выходкой".

Итак, двигала Дашковой вовсе не жажда восстановления исторической справедливости, а чувство прямо противоположное: мало ли что там было в действительности, но русскую историю имеют право писать только русские. Писать, сообразуясь не с объективностью, но с собственным патриотизмом. Объективность — это клевета, а патриотизм — вот истина. И горе тем, кто смеет помнить то, что мы хотим забыть!.. Дашкова, безусловно, не чета нынешним ее имитаторам. Однако разве не тем же патриотическим комплексом неполноценности страдает... ну, хоть тот же Вл. Солоухин? ("Камешки на ладони"). Какие ни есть мы отсталые-захудалые, хоть и отстаем ото всех лет эдак на 50-70, зато у нас есть поэзия, а в 20 веке поэзии, окромя России, нигде и не было: "Оглянемся ищущими взглядами по белому свету: далеко ушли от нас во всех отношениях высокоразвитые страны, а поэзии нет совсем. Пустыня". Позвольте: а Рильке? а Т.С. Элиот? а Эзра Паунд? а Дж. Унгаретти? а Аполлинер? а Сен-Жон Перс? а Стефан Георге? а У.Х. Оден? а Э. Дженнингс? а Харт Крейн? а Милош? а..? а..? а..? Хороша пустыня!

Очень любят наши славянофильствующие патриоты порассуждать о том, что "после Петра" все пошло вкривь и вкось, интеллигенция-де оторвалась от народа, порвала с корнями, словом, отбилась от рук. Ведь до чего дошло: стали забывать свой природный русский язык, переделываться в европейцев. Не патриоты они, нет, не патриоты. То ли дело мы... и т.д. Но вот как быть с Дашковой? Как быть с этой "типичной представительницей" послепетровской эпохи? Ведь приведенный эпизод начисто опровергает их излюбленный довод: хоть и написаны "Записки" по-французски, а с патриотизмом у Дашковой "все в порядке" — его у нее ничуть не меньше, чем у иных наших литераторов-патриотов, считающих себя экспертами хошь по части экономики, хошь по части культуры.

Неустранимый изъян патриотизма проявляется уже в том, что он требует от нас быть сначала русскими, а уж затем людьми. Но и здесь остается еще спорный вопрос: кого считать русским? Я-то всегда думал, что принадлежность к народу есть

принадлежность к культуре. А она – в языке. Кто говорит и думает по-русски, тот и русский. Так рассуждаю я. Но наши патриоты считают иначе: для них русский тот, у кого в жилах течет русская кровь. На это им резонно возражают: а Пушкин? а Мандельштам? Ну, со вторым все ясно: нас уже, спасибо, просветили, что он не может называться русским поэтом, потому что – еврей. Пушкин, правда, все еще русский, потому, надо полагать, что хоть он и "не совсем" русский, но и не еврей. Вот и Достоевский, как мы помним, видел в пушкинской Татьяне, той самой, что "по-русски плохо знала", – олицетворение русского национального характера. А поскольку культура народа определяется национальным характером, последний же – в "крови", вот и получается, что для патриотического жизнепонимания культура как сфера духовной деятельности определяется в конечном итоге тем, что не есть Дух. А то, что не есть Дух, несвободно. Так что – даже с этой стороны весьма сомнительно причисление патриотизма (истинная культура, рассуждал Достоевский, народна, а следовательно, создается только патриотами) к духовным ценностям, ведь в основе всех их лежит свобода. А ведь Достоевский считал себя христианином... Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь Россия, приняв христианство, не освободилась от примитивного мышления, для которого мало Духа, но непременно нужен образ, доступный внешним чувствам. И этот образ считается совершенным раскрытием духовного содержания. Именно этим я объясняю возникновение такого чисто русского представления, как родина-мать, Россия-матушка. Ни у одного народа нет такого доходчивого образа родины, в котором заложены большие возможности для демагогической спекуляции и интеллектуального шантажа.

"Использование метафор дает необычайные возможности. С помощью конструирования политических псевдосубъектов можно оправдать и объяснить такие действия, которые иначе нельзя было бы ни объяснить, ни оправдать", – читаем в одной недавней статье (В.Сергеев "Деспотизм свободы" – "Ин. лит", 7, 1989. К нашей теме имеет отношение и другое верное наблюдение автора – о том, что традиция "мифологизации абстрактных понятий" восходит к языческой античности). У превращенного в субъект понятия появляются жрецы, присваивающие себе право действовать от его имени. Именно так случилось во время великой французской революции с понятием свободы,

именем которой якобинцы развязали террор. Наш образ, образ Матери-Родины, функционирует по существу точно так же: право решать, что есть любовь к родине, а что таковой не является; кто есть патриот, а кто таковым называться не может, присвоила себе каста профессиональных патриотов, чувствующих за собой поддержку властей – вне зависимости от того, принадлежат ли они к КПСС или к обществу "Память". Правда, Родина-Мать любит прикинуться вегетарианкой. Но кто знает, куда она позовет нас завтра?

А меж тем отождествление родины с образом матери не так уж абсолютно: ведь все можно сравнить со всем. Так, например, в средние века матерью называли университет (альма матер – мать кормящая). С другой стороны, американские колонисты во время войны за независимость избрали символом своей новой родины вначале "древо свободы" (флагманский корабль американской флотилии, созданной по инициативе Дж.Вашингтона, действовал под белым флагом с зеленой елью или секвоей – "древом свободы" – и надписью: "**Appeal to Heaven**" – "Взываем к Небесам"), а несколько позднее – гремучую змею, готовую ужалить (на флагах она располагалась под надписью: "**Don't tread on me**" – "Не наступай на меня"). Как видим, необходимость в метафоре для понятия родины – это политическая необходимость. Такая метафора используется в пропаганде, цель которой воздействовать на чувства помимо разума. К таким – пропагандистским – метафорам принадлежит и образ Матери-Родины, который используют для того, чтобы направить сыновние чувства в русло, необходимое государству. Однако эмоциональная реакция – штука хитрая и неподконтрольная, труднопрограммируемая. Вот, скажем, грандиозная статуя Матери-Родины, что стоит, замахнувшись мечом, на Малаховом кургане, напоминает скорее амазонку. Согласно античной легенде, их племя не знало материнских чувств. Так что и мы имеем полное право не питать к этой амазонке – чувств сыновних.

Но ладно: предположим, родина – и в самом деле – мать. Так и быть. Посмотрим, однако, что из этого следует.

Если начать разматывать эту метафору, получается, что, подобно тому, как естественен и неизбежен уход детей из родительского дома, так и патриотизм – лишь промежуточная стадия на пути к пониманию человеком своего настоящего

предназначения. Выходит, что если Россия – мать, то замыкать кругозор патриотизмом, ставить его во главу угла, – означает не желать повзрослеть, оторваться от материнской юбки. Не потому ли инфантилизм мышления и, следовательно, поведения – одна из главных особенностей русского обшества?

Не думаю, чтобы именно желанием стряхнуть с себя инфантилизм объяснялось позднее сватовство Блока, окончившееся помолвкой с Россией. Конечно, это был мезальянс – не знаю, для кого больший. Однако остались стихи, в которых появляется его невеста – Невеста-Русь. Интересно здесь главным образом то, что с этой помолвкой любовь к России приобретала оттенок утопичности, нездешности, несбыточности, в лучшем случае – переносилась в будущее. Тем самым оправдывалась невозможность любви к настоящему России, оно, по сути, и являлось той преградой, преодолеть которую – надежды нет, преградой, неумолимо разделяющей Поэта и его Невесту. Блок тонко почувствовал идеальность, чтобы не сказать – нереальность, той России, о которой издавна толкуют славянофилы, тонко почувствовал то, что России "той" в настоящем – нет, а то, что есть, – на "ту" Россию не похоже. Неизвестно, постигла ли Невесту-Русь участь Незнакомки; кажется, она вовремя скрылась в метели, из которой уже доносились пьяные крики и разбойничий посвист – знаменитая "музыка революции"... Таким образом, Невеста-Русь Блока является поэтической критикой славянофильства, подменяющего настоящее – дивной мечтой о дивном будущем. Все, чем мы вправе гордиться, говорят патриоты, все наши святыни – в прошлом. Но они будут восстановлены – в будущем. Мы-то, конечно, его не увидим, зато его увидят наши дети. Тем сильнее мы это будущее готовы любить. А пока ради него не страшно устроить и показательное самосожжение:

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня.
Россия, Россия, Россия, –
Мессия грядущего дня!

Эти строки А. Белого напоминают не молитву, с которой ждут истинного Мессию, но скорее шаманское заклинание. Патриотическое игнорирование настоящего дезориентирует сознание,

которое оказывается скованным первобытным ужасом перед будущим. Будущее хочется заклясть. Словно бы прошлое не было чревато настоящим, а оно, в свой черед, не готовило будущее. Отрицая настоящее, русский патриот отчуждает себя от истории. Непонимание настоящего приводит к тому, что будущее является, как чья-то зловещая шутка:

Мать-Россия!
О родина злая!
Кто же так подшутил над тобой?

Да кто же мог подшутить, кроме нас?! Но нет – признать это патриотам никак невозможно. Так этот таинственный, еще не названный Белым, "кто-то" материализуется во вполне конкретный образ. Выясняется, что над Россией подшутили – инородцы, преимущественно, конечно, евреи. И русский патриотизм неизбежно переходит в антисемитизм.

Как видим, любовь к России (патриотизм) на самом деле есть либо любовь к ее прошлому, либо к ее будущему – любовь к России-невесте, к России-покойнице. Настоящее же признается не Россией, не русским. Рассуждающие так называют себя русскими и при каждом удобном случае третируют эмигрантов (показательно, что наши нынешние патриоты, в духе времени, позволили себе проявить снисхождение к "первой" эмиграции, которая уже вся в прошлом и, следовательно, готова к употреблению в мифе о России), которые-де не имеют родины. Но, спрашивается, где же родина самих этих патриотов? Ведь ее тоже... нет?

Все же, надо признать, что они, эти патриоты, правы: ведь в настоящем мы имеем не столько Россию, сколько вполне конкретную политическую систему. Как писал Г.Федотов: "Плоть России есть та хозяйственно-политическая ткань, вне которой нет бытия народного, нет и русской культуры. Плоть России есть государство русское". Та Россия, любить которую агитировали и агитируют русские патриоты, существовала только в их головах, в реальности же была Россия царская или Россия советская.

Во всех нас с детства вколачивали так называемый советский патриотизм. Легко видеть, что это понятие, уже с логической точки зрения, чистейший оксюморон, наподобие, скажем, живого трупа. Мне-то всегда казалось, что быть патриотом –

означает желать родине добра. Однако трудно поверить, что добра желали своей родине большевики. Во всяком случае итоги последних 72 лет говорят об обратном. Поэтому, на первый взгляд, странным кажется, как это наши патриоты исхитряются на одном дыхании вздыхать о династии Романовых и тут же защищать советскую империю. Но странного в этом ничего, собственно, нет: ведь можно быть патриотом только чего-то имеющегося в действительности. В действительности же всегда была тоталитарная Россия, и я не вижу разницы, советская она или царская. Так что монархистов (а все, кто публично объявляют себя патриотами, в основном испытывают недвусмысленную склонность к монархическому образу мышления) и коммунистов разделяют лишь несколько слов, и я уверен, что при крайней нужде они всегда найдут возможность договориться. Во всяком случае за монархистов я почему-то спокоен — за ними дело не станет. А не такие уж давние попытки Горбачева увенчать коммунистический режим в Афганистане изгнанным королем — намекают на большой потенциал для сотрудничества.

Понятно, что приверженцы советской монархии идут вслед за Достоевским, многие статьи которого, посвященные так называемому "восточному вопросу", довольно страшно читать сегодня, после того как наши танки прошли по вацлавской брусчатке. Достоевский, как известно считал, что в интересах всех славян объединиться под началом России. Конечно, оговаривался он, произойти это должно всецело добровольно и такой союз не будет ущемлять свободу каждого народа, но, наоборот, именно тогда славяне только и смогут воспользоваться свободой. Не знаю, может быть, Достоевский действительно верил в реальность своего плана, серьезно верил, что в проектируемом панславянском государстве будет иметь место нечто похожее на свободу. Как бы там ни было, я готов скорее поверить в его искренность, чем в искренность тех, кто сегодня считает себя его духовными наследниками. Но не странно ли, что наша пропаганда уже лет пятьдесят словно цитирует Достоевского — цитирует еще с той поры, когда книги самого Достоевского были у нас под негласным запретом? По иронии судьбы жертвами становятся наиболее искренние представители патриотической партии (они, впрочем, наперечет). В реальности они имеют дело не с идеальной Россией своих грез, но с реальным воплощением этой России — с государством, проводящим

единственно возможную для тоталитарного государства политику – политику захвата. Считать же политику областью морали – не такое уж безобидное прекраснодушие. Из одного этого уже, казалось бы, можно сделать вывод, что патриотизм прежде всего выгоден правителям, а тем паче в России, где уже полтораста лет мы только и делаем, что мечтаем увидеть обломки самовластья, даже без наших имен на них.

Когда в 1923 году Павел Новгородцев в своей предсмертной статье "Восстановление святынь", статье исступленно патриотической, ставил в пример послереволюционной России – Францию, которая "под предводительством Бонапарта выходила из своей революции 18 века" с лозунгом – "Никаких фракций! (так тогда называли партии – В.Л.) – Нация прежде всего!", считая, что "под этим лозунгом Франция, истомившаяся потрясениями и раздорами революционного времени, была умиротворена и успокоена Наполеоном", – знал ли он, что захватившие власть большевики и в мыслях не держали оставлять какие-то там "фракции", тем паче – партии? П.Новогородцев не хотел понять, что не существует родины вне политической системы, лозунгом же "родина превыше всего" умело пользуются бонапарты. (Впрочем, П.Новгородцев заслуживает уважения по крайней мере за свою решимость выговаривать все до конца: Наполеон в роли "миротворца" – это не просто очередная жертва истиной патриотизму, но и нечто, до странности напоминающее сталинский культ Иоанна Грозного. Но дело здесь не в индивидуальной склонности к "сильным личностям": патриотизм как любовь к государству закономерно приводит к культу вождя, диктатора, в котором полнее всего раскрывается "идея российской государственности"). Когда немецкий поэт фон Фаллерслебен в порыве патриотического энтузиазма написал стихотворение, начинавшееся строкой "Германия, Германия, превыше всего!", он, конечно, не предполагал, что оно станет гимном нацистской Германии. Но его, пускай и невольная, вина – это вина всех патриотов, чьими благими намерениями мостится дорога в тоталитарный ад. Ведь патриотизм – категория не этическая, но политическая, это не нравственность, но идеология – идеология тоталитарного режима, который отличается именно стремлением "перекодировать" самые естественные человеческие чувства, придав им иное направление. Заповедь любви к ближнему подменяется требованием

любви к отечеству, полномочным представителем которого в настоящее время является государство. Этот нехитрый подлог не может удерживаться долго. Он открывается вместе с неизбежной гибелью того или иного националистического варианта тоталитаризма. Живучесть русскому патриотизму обеспечивает тесный союз русской государственности с Православной Церковью, воспитавшей русский народ в теократической традиции, хотя собственно теократией русская империя не была никогда. В самом деле: глава русского государства, как известно, никогда не был его религиозным главой. Однако подчиненное положение Церкви, с одной стороны, и статус православия как государственной религии, с другой, вели к обожествлению царского трона, места царя в обществе, в большей степени, нежели самой его личности. В результате возник очень занятный феномен идолократии, безразличной к тому, кто стоит на ее верхушке – православный монарх или коммунистический вождь. Поэтому предмету данной статьи ближайшим образом отвечает не рассмотрение вопроса об отношении патриотизма к христианству, но об отношении к православию, и даже не столько к православной теологии, но к Православной Церкви и ее роли в русской истории.

Роль, сыгранная Православной Церковью в образовании русского государства, – признается всеми. Но для судеб христианства в России это далеко не всегда положительная роль. Разумеется, никто не собирается утверждать, что христианство совсем не повлияло на духовное состояние русского народа, на его культуру. Но это влияние, во многом шедшее вопреки Церкви как институту, не было настолько глубоким, чтобы оправдать наименование "Святая Русь", в котором проявилось свойственное русскому народу представление о собственной избранности.

Возникновение русского мессианства принято связывать с появлением теории "Москва – третий Рим", начавшей интенсивно складываться после падения Константинополя в 1453 году. С тех пор Россия стала рассматривать себя как преемницу Византии, руководительницу православного мира. Но если бы дело шло только о духовной роли России, о ее религиозном авторитете, гораздо логичнее выглядело бы принятие в качестве официальной доктрины теории "Москва – второй Иерусалим", соперничавшей с теорией старца Филофея. Однако дело шло не

столько о духовной, сколько о политической роли России, об интересах нарождающейся российской империи. Во всей этой истории показательна, как сказали бы сейчас, "сознательность" Православной Церкви, ее готовность "послужить отечеству".

Очевидно, однако, что месту, которое предстояло занять в российской империи Церкви, гораздо более соответствовала бы не христианская, но иудейская религия или ислам, и с этой точки зрения может удивить, почему князь Владимир склонился именно к христианству, тогда как, если верить летописцу, он слушал и иудейских, и мусульманских проповедников. Такое удивление было бы вполне уместно, забудь мы на мгновение о самом главном — о том, что человек, уверовавший в Бога Истинного, брал во Владимире верх над расчетливым политиком, хотя и не подавлял его полностью. Это внутреннее противоречие было разрешено выбором Владимира в пользу православного исповедания Христа, хотя посольство, как повествует летопись, побывало и в "земле немецких католиков". И, конечно, не пышность византийского богослужения, поразившая, как думал Карамзин, наивные сердца послов, но трезвое понимание князем несовместимости католицизма с его политическими амбициями и недурная информированность об отношениях, в которых находились государство и Церковь в Византии, обусловили выбор Владимира. Можно думать, что равноапостольный князь как человек принял христианство, но как политик он принял православие. Этот компромисс наложил отпечаток на всю последующую историю России, на протяжении которой мы видим постоянное столкновение искренней веры — любви к Богу с патриотизмом — любовью к православному отечеству. Причем, как правило, верх одерживал патриотизм. Да, был канонизирован князь Михаил Черниговский (о нем И. Бунин писал. "Святой князь Михаил Черниговский шел в орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть"). Но на одну такую канонизацию у нас приходится две других — канонизированы Александр Невский и Димитрий Донской, прожившие жизни государственных деятелей и полководцев, но уж никак не святых (по приказанию последнего, кстати говоря, был казнен боярин московский Иван Вельяминов — это была, по-видимому, первая на Руси публичная смертная казнь).

Окончательное подчинение государством Церкви обычно

связывают с деятельностью Петра Первого. Однако нельзя не видеть, что Православная Церковь с самого начала не только уступила первую роль светской власти, но и искала подчиненого положения – зависимости от нее. Недаром С.М.Соловьев писал, что "в поведении русских митрополитов... действовавших в продолжении описанного периода (1054-1462 – В.Л.) всего лучше можно заметить великое влияние византийских отношений, характера восточной Церкви. Митрополиты русские не стараются получить самостоятельное, независимое от светской власти существование. Пребывание в Киеве, среди князей слабых, в отдалении от сильнейших, от главных сцен политического действия, всего лучше могло бы дать им такое существование; но Киев не становится русским Римом: митрополиты покидают его и стремятся на север, под покров могущества гражданского... вследствие чего власть церковная и гражданская должны были стать в те же отношения, в каких они были в Византии" (С.Соловьев. Сочинения. кн. 2, М., 1988, стр. 569). С самого начала Православная Церковь не стремилась и, вследствие унаследованных традиций, видимо, и не могла стремиться к тому, чтобы занять независимое положение, наиболее подходящее для исполнения ею своего прямого назначения. Так что – превращение Церкви в Синод – лишь закономерный итог.

Было бы не верно, однако, думать, что Церковь только претерпевала влияние государства, сама никак на него не влияя. В интересующем нас плане это влияние имело два аспекта. Во-первых, единственное, что бесспорно отложилось в русском общественном сознании из православия, это идея исключительности России, ее исторического пути, или – в несколько смягченном варианте – первопроходческой миссии русского народа; эта идея непосредственно связана с другой идеей, которую можно приблизительно сформулировать так: истина принадлежит нам, русским, единственно в силу того, что мы русские. Таким образом, этическое переходит в этническое – центральное положение православной догматики (православие есть единственно праведное исповедание Христа), секуляризуясь, становится доминантой политической теории и практики русского государства. Во-вторых, идеология и пропаганда становятся в России чем-то религиозным – не потому, что пропагандируется религия, но потому, что Церковь, растворившись в государстве, передала ему церковное – клерикальное – сознание, которое

не просто вполне совместимо с атеизмом, но как раз лучше всего совместимо именно с ним. В результате патриотизм становится в России понятием религиозным, хотя собственно христианство никак не сказалось на его понимании.

Достаточно показательным в этом плане является традиционное – близкое к кощунству – соединение Веры и родины в призывах типа: "Прежде всего надо спасти Родину и веру, государство русское и веру православную, отстоять "церкви Божия" и "Пресвятыя Богородицы Дом" (цитирую все ту же статью П.Новогородцева "Восстановление святынь"). Но какое отношение имеет Вера к родине, к государству? Государство может быть завоевано, может погибнуть, но Вера? – ведь она в нас. Ведь веровать можно где угодно – в тюрьме и на воле, на родине и на чужбине, причем не известно, где веруют тверже... Да и потом, как мы знаем, государство русское осталось все тем же государством русским и после того, как был взорван храм Христа-Спасителя, а на Красной площади возведен мавзолей, в котором хранится труп первого коммунистического самодержца всея Руси... Но нет ли в этих призывах "спасать" сознания того, что вера в русском народе – слаба? И народ этот ничего не стоит заставить поклониться любым идолам?

Потому, наверное, и ответила Россия так однозначно на знаменитый вопрос Вл.Соловьева (Каким же хочешь быть Востоком: // Востоком Ксеркса иль Христа?), что никогда не была Россией Христа настолько, чтобы отвергнуть Ксеркса...

В патриотизме, как в фокусе, находят отражение политические и культурные традиции народа. Если патриотизм народов, выбравших демократию, в общем-то подчиняется основному правилу демократического общежития: свобода одного кончается там, где начинается свобода другого (соответственно: патриотизм одной нации кончается там, где начинается патриотизм другой нации), то русский патриотизм в силу клерикально-монархических традиций – агрессивный и направленный против других народов, – является, по существу, национализмом. Иначе и быть не может: ведь патриотизм становится ядром любой тоталитарной идеологии. Характерно, что коммунистический интернационализм не ведет к отказу от патриотизма, который отныне называется – советским. Вот и сейчас, правительство убеждает народы, у которых отнята свобода, любить империю – "наш общий дом", не считаясь с тем, что иные

предпочли бы коммунальной квартире – отдельную. Поэтому предложение Дм.Мережковского выбирать свободу без России или Россию без свободы, – в сущности лишено смысла: такого выбора у нас никогда не было. Как нет его и теперь. Ибо той России, той "страны чудес", которая снится наяву славянофильствующим патриотам (напомню, что "страной чудес" назвал Россию Кнут Гамсун, быть может, попросту джентельменски вернув определение, данное Западу, первым поколением славянофилов, – "страна святых чудес") и которую стоило бы предпочесть свободе, – никогда в реальной действительности не существовало. Поэтому нашим патриотам, требующим во имя России умерить стремление к свободе, следовало бы задуматься над тем, что было однажды сказано о революциях: те из них, которые обещают хлеб, а потом свободу, в итоге не приносят ни хлеба, ни свободы. Наш народ, кажется, уже имел возможность убедиться в справедливости этих слов...

Если верить словарям, патриотизм есть любовь к родине. Но поскольку понятем родины очень удобно подменить конкретный бесчеловечный режим, без пропаганды патриотизма не обошлась еще ни одна тоталитарная система. Именно поэтому в России тема патриотизма – вечная злоба дня. Нас постоянно агитируют любить родину, но забывают напомнить о необходимости прежде всего любить людей, эту родину населяющих. Но разве любить людей не означает желать им свободы? Разве допускает эта любовь людские жертвы ради территориальных приращений? Разве допускает ненависть к "чужим родинам", населенным не "империалистами", не "фашистами", не "сионистами" и не "душманами", а – людьми? Словом, разве допускает она все то, что требует от нас патриотизм?

Но – если в нас есть эта любовь, зачем нужен патриотизм?

Ленинград.

Елена Дьякова

ЛЕТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ

Паноптикум перенесен,
и транспарант перелицован,
но длится обморочный сон
в хрустальном, цинковом, свинцовом,
и дело даже не в Самом,
да что-то распаялось в схеме,
и телевизорным бельмом
за мной присматривает время:
— В какие впишешься полки?
каким побалуешь коленцем?
считай у кассы пятаки,
считай пророка отщепенцем,
считай по городу ворон,
считай на лекции сексотов —
в эпоху пышных похорон,
в эпоху страшных анекдотов...

Г. Померанц

В ПОИСКАХ СВЯТЫНИ

В недавно опубликованных заметках* В. Вернадский противопоставил Ленина Ганди. Ганди был учеником Толстого. Почему Вернадский не вспомнил Толстого? Я думаю, тогда пришлось бы увидеть начало зла не в другом (в Ленине), а в самом себе. Вся почти русская интеллигенция прошла мимо Толстого, сочла его нелепым, непрактичным. В том числе либеральная интеллигенция, к которой принадлежал Вернадский и его партия – Конституционно-демократическая партия народной свободы. Толстой яростно выступил бы против войны 1914 года, против требования проливов, против лозунга водрузить крест над Святой Софией. И был бы прав: обычное "законное" зло проложило дорогу всему хаосу XX века.

Несколько десятилетий считалось, что призыв Льва Толстого – не отвечать насилием и злом на насилие и зло – совершенно не научен и научное добро должно быть с кулаками. Мы дружно ненавидели врагов рабочего класса, врагов народа, врагов России... И вдруг ненависть вышла из канавок, куда ее направляли, и стала заливать города: Алма-Ату, Сумгаит, Фергану, Баку...

Иногда это все объясняют отходом от церкви – отлучившей Толстого; от церкви, которая благословила (как и все церкви) войну 1914 года. Тогда впервые началась массовая организованная ненависть народов друг к другу. И с этих пор в нашей стране ненависть только меняла направление: вместо войны империалистической – война гражданская; вместо немцев буржуи, кулаки, "троцкистско-бухаринские мерзавцы", снова немцы, потом американцы, напустившие на нас колорад-

* "Век XX и мир", 1990, №1.

ского жука, космополиты, масоны, сионисты. И сегодня несколько журналов только и делают, что разжигают ненависть, смешивая возрождение веры отцов с возрождением ненависти отцов друг к другу.

Бунт Толстого против православия имел свои основания. Мы к ним еще вернемся. Но были и свои потери (как во всякой революционной ломке). Красота, которую остро чувствует Толстой-художник, нравственно безразлична, нравственность безразлична к красоте. Толстой боялся власти красоты без четкого нравственного направления (это видно в его страхе перед музыкой Бетховена). Он доверял только прямому указанию в прямых, четких словах, и ему казалось, что красота богослужения мешает, подменяет прямое следование словам Христа наслаждением от красоты напевов, мерцания свечей перед иконами и т.п. Соскальзывание в красоту обрядов – соблазн культа, и по отношению к нему Толстой прав; нужна повседневная нравственная ясность, повседневная жизнь по совести. Но красота литургии вовсе не мешает голосу совести, она скорее помогает ему проснуться. Здесь ближе к правде князь Мышкин, сказавший, что "мир красота спасет" (красота поможет родиться нравственной воле, красота природы и высокого искусства). Об этом же написал и Флоренский: "есть Троица Рублева, следовательно есть Бог".

После нескольких десятков лет помрачения ума и порчи художественного вкуса нам заново открывается весь мир искусства, созданного древними и средневековыми художниками вокруг богослужения, вокруг церкви. Толстовское отрицание литургии смотрится сегодня как разрушительная инерция критической мысли (вместе с отрицанием медицины, оперы и т.п.). Но борьба с хрестоматийным глянцем, прикрывшим нравственный призыв Христа, и сегодня так же своевременна, как сто лет тому назад. Толстой неповторим и незаменим в страстной, убежденной и глубоко нужной передаче нравственного призыва Нового Завета, призыва вселенского, направленного против всякой ненависти, и национальной, и личной, против всякого жаления себя и своего народа, против всякого раскармливания чувства действительных и мнимых национальных обид.

Преодоление обиды начинается изнутри, в каждой душе. Оно не может сразу стать массовым. Оно приходит как глас вопиющего в пустыне, но если этот голос не будет услышан, если он не захватит народы, мы захлебнемся в крови.

"...в старом законе вашем сказано: люби человека своего народа, а ненавидь людей чужих народов.

А я говорю вам, что надо любить всех людей. Если люди считают себя врагами вашими, и ненавидят, и проклинают вас, и нападают на вас, то вы все-таки любите их и делайте им добро. Все люди сыны одного Отца. Все братья, и потому надо одинаково любить всех людей" ("Детям о Христе").

Так Толстой в брошюре пересказывает Евангелие – не совсем точно; в Библии нигде не говорится "ненависть людей других народов". Напротив, в Ветхом Завете несколько раз повторяется: "будь милостив к страннику (чужаку), ибо сам ты был странником (чужаком) в земле Египетской"*. Но Толстому хотелось подчеркнуть разницу между племенем и вселенским сознанием. Христианство не стало бы мировой, вселенской религией без слов апостола Павла: "несть во Христе ни иудея, ни эллина, ни скифа, ни римлянина". Толстой приписывает эти слова самому Христу; это неточно, но по сути, по духу верно. Устами Павла говорил дух Христа. И во всем современном мире, и в нашей стране отчаянно важно найти такую духовную точку, в которой все народы оставаясь разными и не теряя своих различий, почувствуют свое духовное единство, – как иудей и эллин, римлянин и скиф, становясь христианами, находили свое единство в Христе. В наши дни, при нынешнем развитии науки и техники разрушения, взаимная ненависть грозит погубить всю жизнь на земле. И призыв Толстого, казавшийся наивным, нелепым, ненаучным, оказался в ладу с непреложной необходимостью. Само развитие производительных сил заставляет вспомнить, что есть путь борьбы за добро без насилия, и, во всяком случае, – без ненависти. Короткое насилие иногда необходимо, как хирургическая операция, как несколько выстрелов, чтобы остановить погром. Но всегда должно оставаться сознание психологической опасности насилия, отвращение к насилию, свобода от ненависти. Ибо ненависть превращает хирургию в садизм.

Хочется начать движение в защиту человека, человеческой личности, от борьбы вооруженных групп; от государства и от толпы, от фанатиков веры и фанатиков народности. Может быть, надо назвать это обществом охраны личности, может – как-то иначе, но так, чтобы объединить всех, кто защищает личность, любую личность: ветерана, военнослужащего, репрессированного, инвалида, беженца и т.п. Кому-то надо отвлечься от предмета спора и сосредоточить свои усилия на *стиле* конфликтов, чтобы в споре не терять человеческого лица, чтобы против всех групп и коллективов и учреждений защитить человека и человеческое в каждом из нас.

* В синодальном переводе странник. На самом деле – скорее чужак, пришелец.

Мне кажется, здесь на помощь духу Льва Толстого приходит дух Андрея Сахарова. Я позволю себе поэтому коротко повторить свою статью "Феномен Сахарова". Сахаров всем собой, своим характером, обликом, поведением вносил в жизнь какой-то новый нравственный принцип. Вносил, естественно, без всякой позы пророка. Он просто понимал, что атомная ночь грозит опуститься над всеми народами и всеми принципами.

Сахаров не очень много говорил о духовности, но в него незримо входил дух целого; входил потому, что место не было занято никаким духовным мусором. И поэтому становилось ясным простое разумное решение сложных и запутанных вопросов.

Сахаров возмущался, но не злился; он всегда готов был сотрудничать со вчерашним врагом, без всякого воспоминания о своих обидах, об обидах своего народа и т.п. Сахаров смахивал обиды, как пыль с башмаков. Обиды не оседали в его душе. И потому вокруг Сахарова всегда была какая-то светлая аура. Он противостоял ненависти не только словом. Он весь был сосудом, в котором ненависть гасла, исчезала сама собой. Он весь утверждал превосходство стиля полемики над любым предметом полемики. И если у нас будет парламент, он должен быть сахаровским по своему стилю.

Там, где нет свободы личности и свободного слова, только юродивый, полубезумный говорит в лицо освященной, табуированной власти: "не могу молиться за царя – Ирода". В XIX веке место юродивого Николки заняли писатели (Толстой, Короленко). Потом самыми авторитетными людьми стали ученые. И Сахаров почувствовал, что его обязанность – занять кафедру Николки. Он не думал в таких терминах, но он почувствовал призыв истории и откликнулся на него и стал последним русским юродивым совести ради и первым лидером парламентской оппозиции.

История ведет нас ко все более ясному, рациональному выражению глубинного духа истины. Суть не меняется, но изменение формы имеет смысл, прокладывая путь к нравственной ответственности каждого мыслящего человека за судьбу всего мира; и в парадоксальном сближении двух имен – врага науки Толстого и великого ученого Сахарова – я вижу знамение времени. Толстой интуитивно почувствовал невозможность старого, необходимость нравственного скачка. Диссиденты превратили это в современное тактическое действие.

Нынешняя журнальная и газетная полемика может быть описана, как борьба честной бездуховности с извращенной духовностью. С одной стороны – сосредоточенность на частных

проблемах — экономических, политических и правовых; с другой — поиски святынь, но таких, которые позволяют сохранять привычки ненависти. Эти поиски святынь привлекают публику к Шафаревичу, к "Нашему современнику", и она попадает в ловушку демонизированной духовности.

Владимир Соловьев описывал миросозерцание своих современников так: "человек произошел от обезьяны; поэтому будем творить добро". Вторая половина силлогизма очевидно не вытекает из первой; вопреки логике у нигилистов сохранились привычки христианства. Подобным парадоксом можно описать миросозерцание современного православного красногвардейца: "Христос воскрес — поэтому будем ненавидеть сионистов". (Ср. статью Е.Коршунова, "Московский церковный вестник", 1989, № 9, и отклик И.Сомова в "Веке XX-м", № 1, 1990.) Было бы логичнее другое: "Христос воскрес — поэтому будем любить своих врагов". Но последовательным христианином очень трудно стать. Для этого нужна большая, долгая внутренняя работа. Настолько большая, настолько долгая, что она кажется невыполнимой.

Сравнительно хорошо, если новый христианин понимает свою неспособность к этой работе, так, как Андрей Синявский. Его автобиографическая трилогия ("Голос из хора" — "Прогулки с Пушкиным" — "В тени Гоголя") пронизана одной мыслью: "по-христиански жить нельзя, по-христиански можно только умереть" (мысль, близкая и Толстому). Подсознание художника-христианина остается языческим и толкает его к языческому искусству. Так жил и писал Пушкин — страстно, яростно — а на смертном одре простил Дантеса и умер христианином. Так жил и писал другой любимец Синявского, Василий Васильевич Розанов. След их правильной (по Терцу) жизни — великая русская культура XIX–XX вв. След неправильной жизни — сожженная рукопись "Мертвых душ".

Эта полемика, родившаяся на следствии и продолженная в лагере, обогатилась в книге о Гоголе новой, более глубокой мыслью: художник, не оставляя своей грешной дудочки, должен "перегудеть черта", изнутри искусства, изнутри творческой личности приблизиться к святости. Но это остается задачей без найденного ответа, и в фильмах Тарковского основной мотив — разрыв между художником и его святыней. Дальше этого либеральное сознание не пошло.

Консервативное сознание проще и доступнее. Крещеный просто-напросто признает себя христианином. Христианство национализируется в духе ночного разговора Шатова со Ставрогиным, перестает быть религией личности и человечества; ку-

мир народности заслоняет сына человеческого, распятого для блага народа ("пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ", – говорит, вместе с первосвященником, слепое народничество).

Между тем, обетование вечной жизни дано личности, а не народу. Вечен Амвросий Медиоланский, а не римский народ. Вечен Симеон Новый Богослов, а не Византия. Христианство не отрицает народа, но ставит его на второе место, в мире временного – после личности с ее вечной душой. Нация, в строгом смысле этого слова, возникает в Европе как этническое воплощение вселенского духа, инструмент, перекликающийся с другими во вселенском оркестре. И нет нации без утверждения вечной ценности личности.

Этой борьбы за личность, исполненную вселенского духа и готовую встать на сторону любой попранной группы, нам очень не хватает. Практически такие личности были, но не было философии, вокруг которой они могли бы сплотиться. Сахаров чувствовал призыв вселенского духа по ту сторону вероисповеданий и философских школ. Школы не было и сейчас нет. Советский либерализм опирался на гуманистически понятый марксизм ("Новый мир" Твардовского), а сейчас просто висит в воздухе.

Русский либерализм должен обрести религиозную глубину. Это уже начиналось – у Н.А.Бердяева, у Г.П.Федотова. Это надо продолжить, отделив поиск святынь от поисков душевного комфорта и национального самооправдания. Дух святой будит чувство вины и зовет к покаянию. В том числе – и перед народами, задавленными империей. Только через сознание греха и покаяние советский русский человек станет нравственной личностью. И только зрелая нравственная личность, готовая принять неприятный вывод, если он верен, может перейти от буйной воли – к свободной ответственности.

М. Горелли

ВСЕЛЕНСКИЕ КОЗЯВКИ

Жил-был человек, звали его Петров. У этого Петрова с самого детства была одна очень гадкая привычка: поковыряет Петров в носу, достанет козявку, хоп — и съест ее. Мама Петрова от этого просто погибала: она и болезнями пугала его всякими несуществующими, и по рукам била, и даже плакала — ничего не помогало. Так Петров с этим и вырос. Корью переболел, скарлатиной тоже, а козявочная болезнь оказалась хронически неизлечимой. Я думаю, по причине его тонкой душевной организации.

Петров теперь уже человек скорее старый, чем молодой, пегий от седины, с большой нечесанной бородой, с залысинами, и весь его облик подернут неуловимым таким духовно-интеллектуальным флером. И вот он достает из волосатого носа козявку и сует ее в свою пасть меж усами и бородой. На дам это производит неизгладимое впечатление. Я-то считаю, что недостаток этот самый невинный, и нечего на него внимание обращать. И вообще Петров очень милый и образованный человек. Но, как только заговоришь про Петрова, сразу скажут: а, это тот, который козявок ест, как будто он ничем иным и не замечателен.

Одна дама, моя хорошая знакомая, пошла однажды к Петрову в гости с пятилетней дочкой. И она дочку заранее предупредила, что, дескать, дядя хороший, но чудак — козявок ест; так ты не обращай внимания и сама так никогда не поступай. Ну вот, пришли они, беседуют, все хорошо, мило, и Петров следит за собой и ничего себе против обыкновения не позволяет. Беседуют они все про скучное, и девочке это скоро надоело — вот она и спрашивает: "А почему дядя козявок не ест?" Вышел большой конфуз.

Лет двадцать назад Петров был горячим православным неофитом. А времена тогда были совсем другие. Иереи на стадионах не выступали и взяты в радио и телевизор еще не были. Бердяева читали не в "Огоньке", а тайно и украдкой. А то, что нынче возвещают с кровель, говорили на ухо шепотом. И это вот тайно, украдкой и шепотом к одному, а не к миллиону, да еще с опасностью (но не смертельной) для людей индивидуальной складки очень и очень много значило.

А у церковных врат встречал приходящих один замечательный и знаменитый священник, от коего получали они умозрение, откровение и прочие дары духовные. И все шли к нему, потому что только он один мог свободно и аутентично говорить с пришедшими на их собственном языке, в то время, как его коллеги употребляли язык древнего благочестия, недоступный для мирского ума молодых людей новой православной генерации. А этот батюшка и про теорию относительности понимал, и про авангард, а иногда даже говорил на проповеди слово "трансцендентный", чем повергал пытливые, но недостаточно подготовленные умы в смятение; интеллектуалы слышали в "трансцендентном" благую весть, а для старушек это было как "кири элейсон", и они смиренно крестились и в простоте сердца говорили: "Прости, Господи". Находились, конечно и столь духовно продвинутые христиане, что сурово осуждали всякие умствования, замутняющие простую истину откровения, но таковые были не здешнего прихода.

Вот в какой ноосфере совершал Петров свое начальное христианское житие. И совершал с большой горячностью: читал только святых отцов, каждую неделю причащался, ел одно толокно с крапивой, читал на клиросе и метил в монахи. Это сейчас он в Великий пост колбасу ест, а тогда — страшное дело — просто столп и утверждение истины!

Ну и, ясное дело, он ощущал себя великим грешником и пребывал в постоянном покаянии, потому что, чем ближе к Богу, тем лучше видишь свои грехи и тем сильней они жгутся. Петрова даже слегка уязвляло, что к его духовнику толпится столько народу, и он, Петров, не может выговориться в меру грехов. Многим казалось, что Петров вроде как претендует на монопольное обладание батюшкой, и это всех, конечно, раздражало, потому что все вроде как претендовали на то же самое. Однажды Петров сказал про ждущих исповеди: "Ну, зачем они здесь, ну, в чем им каяться, ну, какие там грехи. Эх, Господи"... И сокрушенно так махнул рукой. И в общем это прозвучало даже неделикатно, вроде как умаление других грешников, пришедших к батюшке рассказать о своих грехах и получить от него духовное утешение.

А все эти наши новые христиане, как и Петров, полагали, конечно, что грехи у них особенные и выдающиеся. Но на самом деле-то выходило совсем не так. Они, конечно, не чета каким-нибудь там старушкам, которых спросишь: "Аборты дела-

ла?" — и под епитрахиль — они все яркие, все выпуклые, а по грехам похожесть ну, прямо удручающая!

А этот батюшка, надо сказать, был уже пожилой человек и столько знал обо всех грехах на свете, что просто устал о них слышать, и из-за общей похожести еще к нему только подходили, а он все уже заранее знал. И ведь действительно знал и почти никогда не ошибался. Поэтому ему не было нужды особенно ждать, когда его духовные дети доскажут до конца (а они все были ужасно многословные), и он сразу начинал говорить сам и наставлять их на путь ко спасению. Это поразительное умение заранее все угадать, даже не выслушав, создавало вокруг него ореол мистический.

Но вот, когда Петров рассказывал ему на исповеди про своих козявок, батюшка очень удивился, потому что вот о таком грехе он никогда не слышал, а думал, что знает о всех. А Петров кается в сокрушении сердца и говорит, что этот грех отдаляет его от Бога. Священник, конечно, властью данной ему свыше, разрешил Петрова от этого необыкновенного греха, и тот с сияющим взором пошел к причастию.

Исповедь эта имела совершенно неожиданные последствия. Дело в том, что петровский духовник был еще и духовный писатель. Книги его ходили в самиздате, издавались за границей, переправлялись сюда — короче, вся православная Москва их читала. И вот в одной из книг он скорбит и плачет о море грехов, затопляющих землю Российскую и дает советы и пастырские наставления, как в этом море не утонуть жаждущему спасения.

Ну и, конечно, он приводит всякие примеры, анонимно, разумеется: одна женщина спросила, мужчина кается, NN исповедуется и так далее. И эту книжку все читают взахлеб, потому что грехи-то у нас у всех общие, и спасение нам надо искать всем вместе.

И вот здесь-то автор и написал про козявки.

Ясное дело, он не сказал, что козявки петровские. Ну да кто же этого не знал — все сразу догадались: это тебе не прелюбодеяние и гордыня, которые про всех, а это козявки, то есть только петровские и больше ничьи. Круг-то узок этих людей: все друг друга знают, все на виду, и петровские козявки — общее духовное достояние. Но раньше это было устное достояние, местный анекдот, так сказать, фольклор, а тут тебе, кроме от Москвы до самых до окраин, еще и Нью-Йорк, и Лондон, и Париж — в общем, эти козявки стали вселенскими. И книга была хорошая полезная и очень духовная, а только в петровском приходе все толковали про козявки, как будто других грехов человечество не придумало.

Батюшка был безмерно огорчен, ему и в голову не приходило, что это все так станется. На его глазах пастырское дело превращалось из-за ерунды в какой-то карнавал.

А Петрову просто житья не стало. Ему и по телефону и при встрече сразу: "Ты читал?" У некоторых при виде Петрова начиналась форменная истерика. Старые друзья хлопали его по плечу: "Терпи, старик, это проверка твоего смирения, это для сокрушения гордыни". В церкви на него пальцами показывали.

И Петров проверки на смирение не выдержал. Он написал своему духовнику совершенно хамское письмо, и билет, написал, почтительнейше возвращаю, чем доброго батюшку расстроил донельзя.

Петров порвал отношения со всеми нашими, ну, исключая меня, конечно, — мне на его козявки наплевать, я к ним привык, и они меня, как говорит мой сын, не манают.

А для Петрова кошмар, жизненный кризис и полный духовный перелом. Уж как он поносил батюшку. "Да ты, говорю, обалдел, — ты ж ему стольким обязан".

"Да пошел ты, — говорит Петров. — Хватит мне обязанностей! Пред всеми неправ и всем обязан! Запомни: человек никому и ничем не обязан! Ни я, ни ты, никто! И свою свободу я жрецам и левитам больше не отдам!" Так и сказал "жрецам и левитам". А дальше его прорвало и понесло: он поносил сервилизм, невежество и обрядоверие, хвалил прелюбодеяния и аборты, про христианскую общественность говорил просто матом, а слово "трансцендентный" всю дорогу норовил употребить в оксюморонном сочетании. А в конце взволнованной своей речи съел козявку.

"Брось, старик! — сказал я ему. — Давай лучше выпьем". И мы выпили и так выпили, что Петрову пришлось у меня ночевать.

С той поры церковное христианство для Петрова закончилось. В церковь он ходит раз в год на Пасху, и то не к батюшке. Не имея духовной жажды услышать слов не только патриарха московского, но и архиепископа константинопольского, он без четверти час покидает храм, чтобы успеть на метро. А с козявками воюет беспрерывно.

И так было много лет до самого последнего времени.
А недавно Петров исцелился, причем очень неожиданным и забавным образом: посмотрел случайно по телевизору Кашпировского. А что теперь будет с его духовной жизнью — вот этого я не знаю.

(С итальянского)

Макс Вебер

ПЕРЕХОД РОССИИ К ПСЕВДОКОНСТИТУЦИОНАЛИЗМУ

Чтобы понять поведение русского правительства, нужно принять во внимание, что Россия – страна-должник. Реакционеры уверяют, что русская конституция родилась по настоянию евреев или в результате их происков; во всяком случае без них тут не обошлось. Это так и есть. Хотя, разумеется, "злодеями" оказались униженные поселенцы российских гетто, но отчасти в происшедшем "виноваты" и их титулованные родичи из мира высших финансов Берлина и Парижа, в руках которых был контроль над курсом русских государственных бумаг.

Манифест 17 (30) октября 1905 года должен был принести успокоение. Но этого не произошло. Курс ценных бумаг опять упал. Кровавая трагикомедия в Москве, напротив, привела к повышению курса: обладатели русских ценных бумаг тоже хотели "порядка", и граф Витте обронил двусмысленные слова, что, дескать, император может "взять назад" свои обещания. Но этот "пробный шар" не встретил радушного приема. В начале и в середине января газета "Новое время" день за днем телеграфировала из Лондона, что в банковских кругах русский кредит будет устойчив только в том случае, если Россия перейдет к "конституционному" правлению.

Были и другие признаки. Страстные речи депутации "русских людей" в защиту векового старого порядка привели, было, в движение жидкую кровь Николая. В несколько фантастических выражениях он заверил депутацию, что "скоро, скоро свет правды вновь забрезжит над русской землей" и т.п. Пол-

ная радостного восторга депутация передала эти слова в газеты на радость и утешение всех "истинно русских" людей. Но вскоре последовало официальное извещение, что депутации придется отвечать перед судом за несанкционированное разглашение сведений, касающихся Двора. Замечания Витте, что такая романтика неуместна, когда пуст кошелек, было достаточно, чтобы поднявшая слишком рано голову "Божья благодать" вновь сникла перед безличной, но неумолимой силой денежного рынка.

Сразу же многое изменилось. Сочли нужным официально опровергнуть, что в еврейских погромах поздней осенью и зимой принимала участие полиция. Но этого оказалось мало. К Пасхе нужно было разместить новый крупный заем, и понадобилось драконовским методом возложить на местных чиновников ответственность за предотвращение погромов. Эта мера помогла, и погромов не было. Наконец, писатели вроде Горького, которых хорошо знают за границей и преследование которых могло вызвать неудовольствие на Западе, оказались в значительно лучших условиях.

Так правительству в силу финансовых обстоятельств пришлось во внутренней политике руководствоваться "двойной меркой". Царь *никогда* всерьез не думал превратить Россию в "правовое" государство, или, как было несколько наивно сказано в Манифесте, обеспечить "действительные" гарантии личной свободы. О подлинных намерениях царя говорит многое.

Во-первых, это хорошо согласуется с интересами властвующей полицейской бюрократии старого стиля. Кроме того, государство, проводя безжалостные репрессии, может убедить биржу, что оно достаточно "сильно".

Но, с другой стороны, бесконечные и безуспешные поездки финансовых чиновников за границу явно имели цель убе дить банкиров, что Дума действительно выбрана и созвана; только в этом случае можно было думать о размещении солидного займа.

Итак, было необходимо во имя обещаний 17 октября разработать проект конституции настолько, чтобы у зарубежной публики, мнение которой учитывали банкиры, по крайней мере возникло бы впечатление, что в России есть "конституционные" гарантии. Для этого нужно было попытаться примирить собственную "буржуазию" с интересами правительства; найти и привести к победе партии, на которые можно было бы опереться в Думе. Но это было не так просто.

Потому что хотя среди самой бюрократии, вплоть до Государственного совета и министерств, а также в армии среди

нижних и даже высших чинов находились убежденные сторонники либеральной перестройки государственной системы, опыт демагогического правительства Плеве породил недовольство и недоверие в "буржуазных" кругах. Оставалось лишь надеяться, – и на этом стоял Витте, – что "красная" угроза всеобщей забастовки, восстаний и крестьянской войны поможет устранить все сомнения.

Внутри бюрократии и армии, по крайней мере на верхних уровнях, надлежало постепенно отделить зерна от плевел, после того, как позиции Царя утвердились. Уходили один за другим демократически настроенные министры. В правительстве господствовал министр внутренних дел Дурново. Большинство губернаторов проводило репрессии со спортивным азартом. Против некоторых местных чиновников было сперва возбуждено дело, но по настоянию министра внутренних дел оно оказалось прекращено; I Департамент Сената счел, что действия этих чиновников "отвечали намерениям правительства". В России установился административный произвол, и страна фактически распалась на региональные сатрапии.

Положение Витте стало крайне двусмысленным. В результате компромисса между ним и Дурново, он *формально* остался во главе Совета министров. Но как он однажды заметил, если всесильный Дурново захочет его (Витте) повесить, он может сделать это в любую минуту.

Реорганизация полиции, чистка среди работников почт, телеграфа и железных дорог при одновременном весьма значительном увеличении жалованья были первыми шагами вновь обретшей силу бюрократии.

Попытки подавить терроризм не удались, но и террористические акты не смягчили власть и не заставили ее отказаться от практики насилия; в результате ситуация выродилась в хроническую гражданскую войну, принявшую самые худшие формы – гибли прежде всего невинные люди. Только после выборов, когда впереди забрезжила возможность займа и когда в тюрьмах обнаружилась нехватка места, начали выпускать массами на свободу людей, которых держали в заключении по 4-5 месяцев *без предъявления обвинения*. Этим хотели произвести хорошее впечатление.

Продолжались попытки создать за границей впечатление, что Манифест 17 октября проводится в жизнь; при этом, конечно, старались не поставить под угрозу реальную власть бюрократии.

Манифест обещал: (1) обеспечить "действительную" неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний

и союзов; (2) расширение избирательного права; (3) принятие основополагающего закона, предусматривающего, что ни один закон не войдет в силу без одобрения Думы.

***

Легко убедиться, что мера "свобод", получивших *правовую* реализацию с открытием Думы, соблюдалась уже до кабинета Витте. Тогда это было результатом поражения в войне, в надежде как-то уравновесить власть бюрократии, не отказываясь от ее неограниченной власти в будущем. После того, как Октябрьский Манифест обещал создать законодательную власть, министерства переходного периода не сделали больше ничего в этом отношении. С помощью всех мыслимых юридических манипуляций они пытались подчинить административному произволу прессу, союзы, собрания и религиозную активность, со свободой которых, установившейся "явочным порядком", они формально согласились. Заставляет задуматься и такой, например, эпизод из практики обращения с гражданами. *В тот же день*, когда в Думе разразились громовые дебаты по поводу тронной речи и когда обсуждалось требование об амнистии так называемым политическим преступникам, когда шли манифестации, а в Думу поступило приветственное письмо от заключенных (тюремные власти не успели его перехватить), – *в тот же самый день* в петербургской тюрьме ждали отправки 240 заключенных, которым безо всякого суда и приговора назначили административную ссылку. Машина продолжала работать, как если бы ничего не изменилось.

И тем не менее: происходили некоторые перемены, после которых уже не было пути назад. Нельзя держать у целой нации свободу под носом, а когда она потянется к ней, спрятать ее за спину; нация не ребенок, а свобода не игрушка – такая игра не пройдет.

Русской государственной системе вплоть до октября 1905 года были свойственны два абсолютно очевидных порока: (1) царские распоряжения не скреплялись министерской подписью; (2) не было кабинета министров в европейском смысле. Система рассмотрения законодательных распоряжений была примерно такой же, как при прусском дворе в начале XIX века. Этому должен был когда-то прийти конец. Но конца не было и не было...

Первый *после* начала работы Думы санкционированный указ (от 8 июня о продлении осадного положения в Москве) не имел контрасигнации. На жалобы прессы последовало коммю-

нике в "Правительственном вестнике" (17 июня). Оно напоминало, что *Сенат*, который уже при старом режиме должен был заверять аутентичность распоряжений перед публикацией, делал то же самое относительно "скрепления" документа (нечто среднее между "утверждением" и "заверением"). Итак, все же была своего рода контрасигнация, хотя и не открытая, чтобы избежать всякого сходства с Западом.

Сверх всего этого, "законы" подлежали "скреплению" не министерством, но "государственным секретарем", потому что после прохождения через обе палаты Председатель Государственного Совета представлял их прямо на рассмотрение Царю (статья 65 Уложения о Государственном Совете от 24 апреля 1906 года). Стало быть, и в этом случае вмешательство "ответственных" министров было *формально* исключено. Таким образом, совершенно очевидно, речь идет об отступлении от духа указа от 21 октября 1905 года.

Однако, несмотря на эти маленькие хитрости, упомянутый указ не был отменен. С ним, уже до "конституции", порядок принятия законов по крайней мере начал меняться, а порядок вмешательства высших государственных органов на самом деле был существенно изменен. Еще больше, чем создание Думы и даже больше чем обещание не принимать законов без ее участия, славянофилов консервативного направления расстроило преобразование "министерского совета" указом 21 октября 1905 года, поскольку оно приближало его к "кабинету" во главе с премьер-министром.

До сего времени рядом с Государственным Советом, состоящим из назначаемых пожизненно отставных служащих, часто очень старых и наполовину выживших из ума, существовали два института: (1) министерский комитет и (2) Совет министров. Первый состоял не только из министров, но и из других служащих. Пост председателя этой комиссии был синекурой; председатель даже не имел до последнего времени собственной канцелярии и не нуждался в ней. Он занимался не делами высокой политики, а наоборот: (1) улаживал текущие междепартаментские дела и (2) рассматривал особые дела, например, учреждение акционерных обществ.

Совет же министров, согласно прусской терминологии, был коронным советом. Его возглавлял сам монарх, а в его отсутствие старший из министров. Он созывался приказом Царя и обсуждал изменения в законах и важные политические решения, а также принимал резолюции по отчетам "специальных комиссий", которые он так любил учреждать.

Совет министров состоял из начальников Департаментов

и людей, которых монарх назначал по собственному выбору при участии секретарей Государственного Совета. Не было ни премьер-министра, который имел бы право контролировать доклады своих коллег Государю, ни регулярных министерских консультаций по образцу, скажем, прусской практики. Помимо воли Царя, вся междепартаментская жизнь зависела исключительно от настроения начальников и связей между ними.

Не будет преувеличением сказать, что страна была поделена на департаментские сатрапии. Оспаривая друг у друга сферы влияния, департаменты фактически находились в состоянии войны друг с другом и жили в атмосфере постоянных административных интриг. Перестрелки между могущественными чиновниками порождали необъятную — на сотнях страниц — переписку.

Удается ли при такой системе обеспечивать интересы страны? Знатоки, как русские, так и иностранные, отвечают нередко, что удается. Продажность и халатность русских чиновников при этом рассматриваются как положительные свойства. Основания для этого таковы: если бы кто-то решил обратиться к 16-томному "Своду" за рецептами управления, то он немедленно понял бы, что эту беспорядочную груду статей невозможно считать эффективным правовым источником. Во всяком случае, *исключительно* с точки зрения свободы индивидуальной деятельности, как ее понимают в "буржуазных" кругах, любой самый грязный способ ускользнуть из сетей кошмарного бюрократического рационализма, выглядел как нечто необходимое для защиты человеческого достоинства подданных. Не случайно столь глубоко ненавидимые чиновники часто были "педантичные" немцы, честно верившие в "святость" правил, установленных "системой", или неподкупные централисты-рационалисты вроде внушительной фигуры Плеве. Старая патриархальная система самодержавия могла функционировать только при одном условии: те, кому надлежало "править", должны были "править" как можно меньше.

Указ от 21 октября 1905 года означал просто исчезновение последних признаков самодержавия в старом смысле и установление власти модернизированной бюрократии. Теперь возник "Совет министров" во главе с председателем. Все дела, проходящие через Государственный Совет и Думу, должны были теперь также представляться в Совет министров.

Анализ его функций показывает, что, собственно, происходит: бюрократическая рационализация автократии во всем, что касается внутренней политики. Теперь соответствующие вопросы будут решаться только *профессионалами*, а в отсутст-

вие самоуправления это означает, что исключительно *бюрократами*...

Царь оказывался беззащитным перед лицом бюрократии, хотя в отдельных случаях он мог решиться на вмешательство. Но в принципе он был исключен из служебной процедуры, и, по самому ее существу, его вмешательство было обречено на бессистемность.

В то же время его вмешательству была на пользу война между департаментскими сатрапиями. Но и тут его возможности были ограничены лишь правом *вето* в делах, входивших в компетенцию Совета. В тех же случаях, когда Царь создавал свое личное "параллельное" правительство (это бывает как будто бы и сейчас) из Великих князей или других приближенных, его воздействие на большую политику оказывается опосредовано интересами разных клик или случайными обстоятельствами. Но при системе *псевдо*конституционализма монополистическое положение Совета укрепляется неимоверно: министры могут распоряжаться как хотят призрачным парламентом, созданным их же машиной управления и лишенным того влияния, которое он мог бы иметь, если бы был обеспечен *правом*.

Совершенно иначе обстояло бы дело, как ни странно это может показаться, при *юридически* полном осуществлении "конституционной" системы. Именно в этом случае монарху было бы обеспечено фактическое *господство* над бюрократией. Потому что в таких условиях бюрократия – в определенных случаях – зависела бы от монарха, имела бы с ним общность интересов.

Такое положение вещей, при котором все "находится в движении", трудно уложить в общую формулу. Но именно благодаря "подвижности" этой трудно определимой системы, при ней позиции строго конституционного монарха часто оказываются сильнее (Пруссия, Баден). Да, чисто *парламентарное* "царство влияния" может вследствие своей самоограниченности обеспечить определенную меру позитивной систематической работы на пользу стране, чего не удается достигнуть в "царстве прерогативы". Правовое же признание прерогатив короны, наоборот, поощряет суетливое тщеславие или неумеренное самомнение монарха, его амбиции. А реальность современной жизни не допускает дилетантизма властителя, столь характерного, например, для эпохи Ренессанса. Что бы ни случилось в дальнейшем с "конституцией", мы теперь будем следить с напряженным вниманием, каким путем пойдет "царизм".

В этих условиях интересно предложение Шипова. Оно

имеет славянофильские корни. Шипов предлагает, чтобы Государственный Совет состоял исключительно из представителей земств и других подобных корпораций. Совет, по замыслу Шипова, должен быть только совещательным органом при Царе. *Теоретически* это предложение покоится на отчасти верной мысли: Совет, как он задуман в Законе от 20 февраля 1906 года, становится только тормозом для Думы и служит лишь интересам бюрократии, которая в силу того же Закона располагает в Государственном Совете абсолютным большинством. Царь же в этом органе, работающем и принимающем решения по парламентскому образцу, не имеет опоры. Поэтому чисто совещательный, не слишком большой орган, работающий в непосредственном контакте с Царем, мог бы – так полагает эта теория – мог бы, в смысле "позитивной" работы быть более влиятельным (учитывая входящие в него элементы), а также более сильным инструментом в руках Царя, умеющего им пользоваться, *против* бюрократии.

Порядок, созданный Указом 21 октября, наносил удар власти Витте над бюрократией. Утвердить значение поста премьер-министра, который он себе создал, Витте не удалось. После того, как Витте с точки зрения *биржи* достаточно долго занимал свое место, и после того, как заем был получен, Витте исчез. Ему даже не удалось утвердить систему государственного кредита в том виде, который он ей, несомненно, хотел придать. Он еще мог показать себя, выступив против насквозь коррумпированного Дурново. Вместо этого он присоединился к нему, обрек себя этим на ненависть и презрение "общества", не завоевав при этом доверия Царя. Таким образом, он потерял свой шанс стать "спасителем".

Несомненно, что по мере рационализации бюрократической машины и ее распространения вниз все славянофильские идеалы также подрубались под корень.

При этом, конечно, война "общества" с бюрократией не прекращалась. "Новое время" было единственным (насколько мне известно) изданием, пытавшимся уговорить графа Витте остаться. Крупный капитал и банки были единственными, помимо самого чиновничества, кто был заинтересован в господстве бюрократии под прикрытием псевдоконституционализма, при условии, что им дадут возможность бесконтрольно делать деньги и ликвидируют "забастовщину". Однако бюрократия попала в сети собственных избирательных законов. Партия "торговцев и промышленников", классовый представитель буржуазии в самом строгом смысле слова, провела в Думу только одного депутата. Все остальное общество, независимо

от партийных симпатий, было единодушно против превращения самодержавия в современную рациональную бюрократию. Даже "красный страх" был не в состоянии заставить русское общество покориться абсолютизму канцелярии, этому порождению современной бюрократической техники.

Не только "демократы", но и умеренные славянофилы (как Шипов) считали, что духу Манифеста 17 октября был нанесен ущерб, когда Государственный Совет, до сих пор бывший чисто совещательным органом, получил такие же права, как Дума. Хотя в Государственный Совет вошли представители дворянства, духовенства, земств, университетов, ремесленных и промышленных корпораций, Император мог назначить *равное* число членов по своему усмотрению, а назначаемый им же Председатель Совета располагал двумя голосами. Члены Государственного Совета могли уйти в отставку только по собственному желанию. Выдвижение "пэров" через изъятые из компетенции Думы министерства было невозможно. Это означало, что назначенная бюрократия Государственного Совета может блокировать любое изменение в законодательстве. Все полномочия Думы при ближайшем рассмотрении оказались умеренной модификацией Закона от 6-го августа, а именно: Дума, как и Государственный Совет, получала право налагать вето на "законы", задуманные как длительно действующие.

Вся система связей между правительством и народным представительством строилась на аксиоматическом предположении, что *народное представительство – враг государственной власти* и всегда им останется. Тут обнаруживается мировоззрение, в котором часто упрекают демократов (например, в Германии): они не могут воспринимать правительство иначе, как врага народа. Странный упрек в адрес демократов – можно подумать, что бюрократия сама не вносила десятилетиями это представление в массы своим поведением.

***

Кодификация карикатуры на все еще такой влиятельный образ мыслей, как конституционализм, в долгосрочной перспективе может дать результаты, сильно отличающиеся от тех, на которые рассчитывают кодификаторы. С крестьянской хитростью и монгольским коварством изыскивает бюрократия, столь изощренная в каждом отдельном случае и столь бесконечно глупая *политически*, юридические петли, с помощью которых она могла бы поймать в сеть и заковать в цепи парламент. Кодификация псевдоконституционализма это – унизи-

тельная уступка автократии конституционализму. Идея конституционализма от этого надолго не пострадает, а авторитету Короны наносится ущерб. Корона на глазах у всех согласилась пойти на уступки системе, которая оскорбляла ее достоинство и честолюбие. Лучше бы она честно и открыто "попробовала" бы настоящей конституции. Если бы эта "проба" действительно привела общество в царство болтовни, упущенных возможностей и прикрытого псевдопарламентом господства клик, то Корона, сохранившая, несмотря ни на что, в сознании масс ореол святости и имевшая на своей стороне, помимо штыков, могущество "идеальных" сил (пусть и иллюзорное), могла бы перешагнуть через право и объявить "пробу" неудавшейся. В этом случае ее престиж вырос бы за счет престижа ее противников. Теперь же, когда парламент опутан колючей проволокой юридических тонкостей, дело обстоит совершенно иначе. Теперь уже парламент имеет возможность внушать массам, что попытка править *вместе с Короной* "не удается".

Булыгинский избирательный проект (от 6 августа 1905 года) предполагает наряду с земским выборным представительством создать довольно сложную систему представительства классов и сословий. Он организует избирателей в сословные курии и предполагает непрямые выборы. Проект Булыгина фактически исключает из выборов пролетариат, ремесленников, средних чиновников и интеллигенцию – главным образом с помощью имущественного ценза. Помимо этого, в проекте были приняты специальные меры против популярных "лидеров" – например, допускались только местные кандидаты.

Таким путем пытались объединить интересы земельных собственников и крестьян, которых считали "авторитарно" настроенными, с интересами бюрократии. Если бы этот проект был осуществлен, власть должны были бы поделить крупные землевладельцы и крестьяне.

Манифест 17 октября обещал расширение избирательного права как раз в пользу тех классов, которых ущемляла эта система, и, казалось, сорвал все ухищрения. Бюрократия, однако, с большим искусством выискивала возможности обезвредить широкое избирательное право, которое ей пришлось допустить. Она пустила поток новых избирателей по одному каналу: резко возросло их число в разряде владельцев "движимости". Оно увеличилось в 20 раз, тогда как число выдвигаемых ими выборщиков осталось прежним.

***

Если бы осенью 1904 года, перед падением Порт Артура, или хотя бы 18 февраля 1905 года, когда у Царя буквально вырвали рескрипцию, так и оставшуюся неопределенной, вместо нее удалось бы вынудить Царя к "конституции" с цензовым и классовым избирательным правом, а затем и к немедленному созыву представительного органа, то вполне вероятным результатом была бы "благодарная" буржуазная Дума, готовая к далеко идущему сотрудничеству. Из-за династического тщеславия и интересов бюрократии этот момент был упущен.

Если бы, по крайней мере, выборы в цензовую Думу по булыгинскому проекту были назначены на начало августа и было бы объявлено, когда Дума соберется, то все же был бы возможен парламент, с которым Витте, еще окруженный ореолом, мог бы править страной. Этого не произошло; произошло, наоборот, октябрьское восстание, и после Манифеста 17 октября – очевидного и болезненного поражения Царя – полное преимущество перешло на сторону демократических сил. С эгоистической точки зрения бюрократии выжидание было "тактически правильным", поскольку она *хотела* псевдоконституционализма, а не "честной" конституционной политики.

Но после декабрьских событий и крестьянских беспорядков ситуация изменилась: возник опять подходящий момент. Если бы тогда, в конце декабря, уже располагая избирательным законом и избирательными списками и имея основания рассчитывать на "имущие" круги, провели бы выборы, то весьма вероятно, что их результаты были бы намного благоприятнее, чем два месяца спустя. Но опять колебались, надеясь, что хотя вино и налито, пить его, возможно, даст Бог, не придется. Тут подоспела и *техническая* сторона выборов, и важнейшие выборы вновь оказались отсрочены на несколько месяцев. Это межвременье поставило крест на всем, что надеялись осуществить с помощью законодательства.

Если законодатели рассчитывали уменьшить значение предвыборной агитации или партийности в этих выборах, то, несмотря на безрассудный отказ от участия в выборах крайне левых, они должны быть разочарованы. Партийная дисциплина в этой кампании имела большое значение. Да и агитация, вследствие чрезвычайно запутанной избирательной системы и потому очень длительной кампании, в конце концов достигла предельного накала.

Как бы ни было много состоявшихся предвыборных собраний, число запрещенных собраний было еще больше. В особенности собраний, организованных левыми партиями, хотя

это коснулось и партий центра. Право запрещать предвыборные мероприятия было передано местным властям (губернаторам), и они широко им пользовались. С точки зрения партийной агитации эти запреты оказались даже более эффективны, чем состоявшиеся собрания. Ничего странного в этом нет. Народным массам и крестьянству совершенно ясно, что если что-то запрещают, значит это что-то "хорошее", до чего, как всегда, бюрократия не желает допустить народ.

Соответственно накалялись нервы и тон агитаторов. Ораторскому "напору" на собраниях соответствует такой же "напор" в публицистике. Борьба идет не только между разными партиями. Идет беспрестанная канонада на страницах одной и той же газеты между товарищами по партии.

Прекращение собраний для полумертвого от усталости оратора было благодеянием, а для его партии эффективной рекламой, гораздо лучшей, чем произносившаяся речь, и к тому же *бесплатной*. Очевидно, что расходы партий при такой сложной системе должны быть очень значительны. По этим соображениям (среди прочих) на Западе и пресса, и лучше всех организованные партии — социалисты и клерикалы — предпочли прямые выборы непрямым. Привлечь интерес масс и усилить эффективность "демагогии" при непрямых выборах намного проще и дешевле, чем при прямых.

Прибегнув к жестокому формализму, правительство исключило из числа кандидатов в депутаты интеллигенцию, в частности, "третий элемент", которого оно так опасалось. Благодаря тщательной фильтрации удалось понизить средний интеллектуальный уровень депутатов. Однако, все эти ухищрения не коснулись самого опасного для правительства класса — "крестьянской интеллигенции". Скорее они укрепили ее позиции. Пока эта группа сама не исключила себя из борьбы безрассудным бойкотом, с ней — по убеждению самой же полиции — можно было справиться только насилием. А насилие, как всегда, обеспечивало жертве *рекламу*. Арестованные крестьянские уполномоченные уже из-под ареста послали полиции телеграмму, в которой благодарили за помощь своему делу: у них были для этого все основания.

Применение полицейской силы всегда и везде оскорбляет чувство справедливости русских крестьян. Несмотря на то, а отчасти потому, что они привыкли к ней и свыклись с необходимостью склоняться перед ней гораздо больше, чем крестьяне в других странах. Они не видят в применении силы "благого обычая", но видят жестокую реальность произвола власти, находящейся в руках их заклятых врагов. Остается лишь спро-

сить: что двигало крестьянами на выборах? Чувство справедливости? Или страх перед полицией?

Правительство делало ставку на страх и постаралось сделать свое дело как следует, согласно собственным критериям. Полная неудача на выборах при таких мерах была неожиданностью как для самого правительства, так и для его противников. И – объективно – этот исход столь многозначителен, что заслуживает тщательного анализа.

***

Неожиданно расцветшие радикальные профсоюзы были распущены. Вообще же к профсоюзам относились сравнительно терпимо. Однако промышленность испытывала сильное давление, и в результате возникла целая армия безработных. В этих условиях фабрики, где дела снова улучшались, могли с большим удобством основательно "фильтровать" рабочий класс. Настроение пролетариата резко упало. Экономические завоевания революции оказались потерянными.

Повсюду фабрики, если они вообще начинали работать, стали удлинять рабочий день. Такое впечатление, что из всех завоеваний рабочего класса осталось одно: рабочих теперь называли "вы", а не "ты".

Но экономические трудности в русских условиях имели последствия, тесно связанные с аграрно-коммунистическим строем. Лишь часть, хотя и значительная, резервной армии трудящихся осталась в городе. Другая ее часть устремилась назад в деревню. Так агитаторы и социалисты, которых "отфильтровали" на фабрике, становились разносчиками радикальных идей в крестьянской среде.

Но и само рабочее движение оказалось неслыханно живучим, несмотря на страх его вождей перед реальной силой власти.

***

Пожалуй, будет уместно рассмотреть здесь аграрную программу кадетов и возникающие вокруг нее разногласия. Хотя бы для того, чтобы дать представление о неслыханных трудностях, с которыми столкнется всякий, кто рискнет просто "захотеть" что-то сделать в этой области.

Прежде всего ясно, что для всей страны, исключая крайний север и районы новой колонизации, характерен земельный голод. *Объективно* это выражается в том, что в течение двух

десятилетий, несмотря на снижение цен на зерно и сравнительно неизменную технику земледелия, аренда и цена на землю неуклонно и чрезвычайно быстро шли вверх. Спрос на землю проистекал не из желания вложить в нее капитал с предпринимательскими целями, но из стремления обзавестись собственностью, гарантирующей человеку возможность прокормиться трудом собственных рук. Покупатель гнался не за прибылью, а за удовлетворением элементарных потребностей. В этом случае верхний предел продажной цены сдерживается только платежеспособностью покупателя.

Прикупка земли на открытом рынке или при посредстве банков достигла теперь значительного размаха. Но цена земли безусловно исключает эффективное использование купленной или арендованной земли по двум причинам. Во-первых, урожайность крестьянских земель уже сама по себе на 20% меньше урожайности поместных, которые крестьянин покупает; крестьянин, возможно, оказался бы в лучшем положении как сельскохозяйственный рабочий, чем как арендатор или собственник. Но главное, во-вторых, неслыханная конкуренция покупателей и арендаторов поднимает цену на землю намного выше капитализированной продуктивности даже поместной земли — можно сказать, что верхнего предела цены нет. Разумеется, в этих условиях доступ к земле получают вовсе не те, кто в ней больше всего нуждаются.

Естественно, что возникает мысль *принудительного* ограничения цены, чтобы прекратить земельную спекуляцию и обеспечить действительно нуждающимся такой размер надела, который ликвидировал бы постоянную угрозу голода. Иными словами, речь идет об *"экспроприации"*. При этом возникает проблема: каковы должны быть нормы земельных наделов? На этот счет существуют следующие соображения:

(а) земельный надел должен быть достаточен, чтобы обеспечить использование *рабочей силы* крестьянской семьи. Этот подход в России неосуществим; статистика не оставляет на этот счет никаких сомнений. Нужного количества земли попросту нет. Тем не менее не только партия эсеров, но также известные специалисты по аграрной политике выступают за "трудовую норму".

(б) земля должна быть роздана согласно "потребительской норме", то есть размер надела должен обеспечивать элементарные жизненные потребности семьи, с учетом местных условий.

Принцип "трудовой нормы" исходит из "права на труд"; принцип "потребительской нормы" из "права на существова-

ние". Первый подход, как и сам принцип "права на труд" предполагает, что цель производства — доход. Он, таким образом, проникнут духом капитализма и в этом смысле — революционный принцип. При втором подходе целью производства предполагается потребление.

(в) есть и третий подход. Поскольку упомянутые виды норм требуют тщательных изысканий и неизбежно будут казаться произвольными, предлагается принять "историческую" норму надела. Обсуждаются при этом две разновидности минимального надела.

Проект аграрной комиссии партии кадетов остановил свой выбор на "потребительской" норме.

***

Проект *систематического* отчуждения и распределения земельной собственности, конечно, не удастся так просто предать забвению. Но крайне сомнительно, что какой-либо из его вариантов хотя бы в некотором приближении по решающим пунктам будет проведен в жизнь каким-либо правительством. Даже намерения кадетской партии выглядят как само-вивисекция, осуществление которой было бы возможно только в безвоздушном пространстве. Если же на момент представить себе страсти и клубок конфликтов, которые тут же возникнут между разными группами интересов внутри крестьянства при малейшей попытке провести в жизнь *систематический* и *всеобщий* передел земли, то станет ясно: для этого потребуется правительство, чрезвычайно преданное идеалам демократии и в то же время наделенное железной волей и способное подавить любое сопротивление. Как показывает история, проведение самой реформы с последующей вторичной арендой в таких масштабах возможно только при условии деспотического правительства и *стабильной* экономики.

Бюрократическое правительство не может решить эту проблему, потому что неспособно выступать против аристократии и класса земельных собственников. А демократическому правительству будет нехватать "железного" авторитета и безоглядности в отношении крестьянства.

Так или иначе, а принудительный передел земли в России выглядит очень маловероятно. Добровольная продажа земли, пока идут крестьянские волнения, возможна по довольно низкой цене. Дело в том, что казаки, поддерживающие порядок, обходятся помещикам довольно дорого, да и вся обстановка выглядит опасной и неустойчивой — в этих условиях помещики

были бы готовы спустить цены. Но необходимый для этого миллиардный кредит вряд ли доступен, да и крестьяне не очень-то склонны покупать. Когда же волнения опять улягутся, цены на землю опять резко пойдут вверх; в некоторых областях они уже поднялись в пять-десять раз, несмотря на падение цен на сельскохозяйственную продукцию.

Идея "дополнительных наделов" не безнадежна. Но в исторически сложившейся ситуации она неизбежно наткнется на подводные камни в необозримом море статистики.

Ко всем трудностям добавляется то, что крестьяне "проснулись" также и политически, и сильные политические партии, исполненные пылких надежд, оформляют в политические программы их фантазии. Чтобы найти действительное решение столь невероятно сложного вопроса на такой широкой основе, как этого хочет, например, партия кадетов, нужна огромная и кропотливая работа. Но при нынешнем накале политических страстей, которым пытаются заставить служить крестьян вожди крайне левой, такая работа совершенно исключена. После политических упражнений последних 20 лет для этого, как и для многого другого, уже "слишком поздно".

При всем уважении к интеллектуальному потенциалу крестьян, производящему впечатление даже на русских наблюдателей антидемократического толка, было бы роковым самообманом думать, что они в состоянии сами провести большую аграрную реформу, буде у них оказалась бы такая возможность сегодня. Гениальный парвеню Наполеон или бюргер Вашингтон, твердо контролируя армию и опираясь на доверие нации, возможно, смогли бы поднять из земли Россию на мелкокрестьянской основе. Но этого не могут сделать легитимные монархи, так же как и со скрипом ползающее то вправо, то влево молодое и старающееся выжить парламентарное государство.

Если же будет осуществлена хотя бы частично реформа в духе кадетов, то вполне возможен мощный подъем замешанного на "коммунистической" основе "естественно-правового" духа. Это может привести к чему-то совершенно "небывалому", но к чему именно – предвидеть невозможно. Во всяком случае, неизбежен глубокий экономический крах, пока эта "новая" мелкобуржуазная Россия снова проникнется духом капитализма: тут придется *выбирать между "материальными" и "этическими" целями.*

К существенно иному результату приведет отчуждение земли, ограниченное земельными ресурсами, уже фактически находящимися в крестьянском пользовании на условиях аренды. Это возможно на основе административного регулирования

аренды, начавшегося в 1896 году, с последующей передачей арендованной земли в собственность общинам или крестьянским товариществам, что уже теперь практикует Крестьянский банк. Этот путь экономически обоснован и легче осуществим при данном "общественном устройстве". Но Крестьянский банк при этом следует "экономическому расчету", отдавая предпочтение индивидуальным хозяйствам и свободным товариществам перед общинами. Такой подход противоречит "естественно-правовому" духу социал-революционеров, также свойственному – хотя и в несколько выхолощенном виде – даже аграрной программе кадетов. Поэтому масса крестьян и ее идеологи из радикальной интеллигенции этот путь отвергают. Даже когда эта система была расширена включением в нее поместных земель, которые арендаторы обрабатывают собственным инвентарем, она воспринималась как "консервативная" по сравнению с "революционными" намерениями кадетов.

Но, может быть, ни один из двух путей не будет выбран, и русский крестьянин пойдет своей дорогой страдания и гнева, пока, наконец, в деревне не победят отчасти современный капитализм, отчасти современное, пригнанное к рынку, основанное на собственном земельном участке мелкокрестьянское хозяйство, и, таким образом, не ликвидируется последнее в Европе прибежище коммунизма и порождаемого им крестьянского "естественного" права. Политика тех, кто сегодня в России держит власть, толкает Россию именно в этом направлении, несмотря на серьезные уступки народничеству.

***

Что делали тем временем группы, расположенные вправо от кадетов? У них была более скромная "техника" предвыборной борьбы. В конце концов торгово-промышленная партия и партия правового порядка положились на экономическое благосостояние своих членов, а правые – на националистически-антисемитскую демагогию. В то же время их положение в предвыборной борьбе внешне казалось более благоприятным, чем положение демократических партий, трудности которых были столь значительны, что ЦК кадетов даже перед самыми выборами стал подумывать, не лучше ли бойкотировать Думу.

Серьезные трудности чинили им сами власти, но еще более серьезные возникли из-за перемены в настроениях тех кругов, для которых закон о выборах был особенно благоприятен: частных землевладельцев.

После подавления Московского восстания и под впечатлением крестьянских беспорядков реакционные настроения стали перекидываться от бюрократии в "общество", то есть прежде всего в земства. Угроза экономического ущерба частным землевладельцам, конечно же, сказалась на их настроениях, а они составляли ядро земского либерализма. Это — хороший пример того, как реальные условия влияют на идеологию имущего класса; он также показывает, как гуманитарные идеалы вступают в конфликт с экономическими интересами и в какой мере они могут при этом устоять. Пока экономическое благополучие господствующих в земствах землевладельцев не подвергалось угрозе, в их среде возникали бесчисленные политические и социальные идеологии. Но как только возникла угроза, освободилась неукротимая энергия дремавших до поры эгоистических интересов.

***

Могло бы показаться очевидным, что союз правительства с привилегированными (формально и фактически) классами — естественный путь, который будет избран. Казалось естественным объединение с силами умеренного земского конституционализма, поскольку дворянство не было достаточной социальной базой для правительства. Этот путь представлялся также сравнительно легким.

Но это было совсем не так. У земств недоверие к правительству в решающий момент все же перевесило страх перед революцией. У правительства ненависть к земствам оказалась сильнее желания найти союзника против революции. Бюрократия должна была пожертвовать значительной частью своей произвольной административной власти; это было необходимо для того, чтобы достичь какого-то взаимопонимания с имущими классами, но как раз это было выше ее сил.

Примером дикой ревности бюрократии к земству было невероятное поведение "Красного Креста" во время войны по отношению к организациям, которые земство хотело предоставить в его распоряжение. С тех пор ничего не изменилось. Теперь чисто филантропическая организация, созданная земством для помощи голодающим, подвергается мелочным нападкам, назойливому надзору.

Итак, вместо того, чтобы положиться на "классовые интересы" имущих слоев, всегда выступающих как охранительная сила и обеспечивающих, когда надо, репрессии, что делает бюрократия? Генерал-губернаторы и губернаторы вмещивают-

ся во все и уже одной своей бесцеремонностью оскорбляют самолюбие земств. Бюрократия не может себе вообразить, что она когда-либо уступит долю своего всесилия кому бы то ни было. Ответная реакция следует тут же.

В октябре, когда Витте формировал правительство, в нем отказались участвовать даже умеренные земские деятели (Шипов), потому что для них сотрудничество с Треповым и Дурново было немыслимо. В январе Витте разослал циркуляр, предлагавший земствам прислать своих доверенных представителей для участия в регулярном обсуждении политических проблем. Почти все земства отказались это сделать. Обе стороны не могли работать вместе.

Даже *экономически* либеральная бюрократия, возглавляемая Витте, полностью лишила политического значения свое любимое детище — предпринимательскую буржуазию, издав закон об избирательном праве и обращаясь с ней соответствующим образом в Государственном Совете. А самого характерного представителя этих кругов в правительстве — Тимирязева — третировали и в конце концов заподозрили в склонности к "зубатовщине".

В таких условиях начались выборы в Думу. Они принесли неожиданные результаты. В Петербурге, даже в округах, населенных бюрократией, банкирами и богатыми рантье, победили конституционные демократы, причем значительным большинством (от 2/3 до 3/4), а участие избирателей было удивительно высоким, несмотря на бойкот.

За Петербургом и Москвой последовал Киев, главный центр бескомпромиссной монархической агитации, а также *все* города европейской России (за исключением Польши). На призыв крайне левых к бойкоту не откликнулись ни имевшие право голоса рабочие, ни евреи, ни радикальная мелкая буржуазия. Масса сторонников социал-демократов решила в пользу демократических партий. Однако победа демократических сил была весьма ненадежной. В случае большей активности избирателей крайне левые в значительной части больших городов сильно потеснили бы демократов. В результате главными участниками политического баланса оказались бы социалисты и классовые партии буржуазии; идеологическая демократия была бы исключена.

По мере нарастания предвыборной агитации становилось ясно, что в сельской местности бойкот выборов тоже не удался. Демократические силы победили значительным большинством в Великороссии, Малороссии, в балтийских и кавказских губерниях. В областях нового заселения, на юго-востоке и ме-

стами на черноземных землях, победила крайне левая. Почти всюду здесь именно *крестьяне*, голосовавшие нерешительно и неожиданно для всех против "умеренных" кандидатов, выступили заодно с городом.

***

Ожидания правительства относительно позиции крестьянства и исхода выборов были обмануты. Оно оказалось лицом к лицу с антибюрократическими и радикальными, как социально, так и политически, элементами. Под впечатлением этого оно поспешно взяло "военный заем" для борьбы с "внутренним врагом" на условиях, продиктованных банками. А те понимали, что контролируют игру.

Сперва они упорно настаивали на созыве Думы. А когда Дума стала реальностью, торопились заключить соглашение о займе до того, как Дума соберется, потому что было очевидно, что Дума не согласится на условия займа, которые можно было продиктовать беспомощному правительству. А поражение бюрократии и ее подчинение Думе имело бы необозримые последствия и серьезно ухудшило бы деловые условия. Финансовое положение правительства было таково, что оно должно было подчиниться либо банкам, либо Думе – предпочтительно банкам.

Годились любые условия. Хотя учетная ставка достигла 9%, а в конце января даже 10%, резервы банков упали; чувствовался повсюду налоговый бойкот крестьян; возник и грозил увеличиться бюджетный дефицит: увеличилось жалованье железнодорожным и почтовым чиновникам, возросли расходы на содержание армии и дотации казакам, участились перемещения войск между гарнизонами, выросли расходы на полицию и на борьбу с голодом, наконец, государство потеряло часть своего имущества и налоговых поступлений. Невозможно хозяйствовать, когда государственную казну так трясет.

Заем был получен. После этого граф Витте стал первым человеком, который больше не нужен. Поскольку к тому же он делил дурную славу с министерством внутренних дел, иностранные банки тоже предпочли бы не допустить его сотрудничества с Думой. Достаточно было любого повода, чтобы кабинет Витте бесследно исчез. На его место пришла "коллегия" корректных, не слишком скомпрометированных в глазах "общества" консервативных служащих.

Настал день открытия Думы. На глазах у всего народа Царь "неверными шагами" (выражение газет) поднялся на

трон и зачитал совершенно бессодержательное приветствие. Речь, которой все ожидали, фактически не состоялась. Возможно, в результате "безответственных влияний", а возможно, просто потому, что не нашлось никого, кто сумел бы подсказать Царю ее содержание.

Обращение Царя сразу же произвело отрицательное впечатление тем, что он ни словом не упомянул амнистию.

Амнистии ждали все: в тюрьмах и в десятках тысяч деревень. Она была символом того, что практика наказаний без судебного приговора будет прекращена. К этому времени правительству уже пришлось вернуть из Сибири и Архангельской губернии ссыльных, выбранных депутатами в Думу. Председателем Думы стал профессор Муромцев, в свое время смещенный с должности. Его заместителем – профессор Гредескул, высланный до того на принудительное поселение в Архангельск. Тут же и вне всякой повестки дня, при шумном изъявлении чувств, потребовал амнистии Петрункевич, один из ветеранов "Союза освобождения".

И начался сам спектакль. Обе стороны понимали: последнюю точку в этом спектакле поставит "пуля".

Царь продолжал игнорировать существование Думы. Казалось, как писала петербургская пресса, он никак не мог решить: считать ли Думу государственным институтом или революционным клубом.

Перед началом заседаний Думы Муромцев, согласно закону, посетил Царя. У него, Муромцева, от этой встречи осталось "хорошее впечатление".

А после дебатов об амнистии, во время которых все накопившееся раздражение вышло наружу и было принято ответное обращение, Муромцев был снова приглашен к Царю, на этот раз на именины. Его с безупречной вежливостью посадили на почетное место, но с ним не заговорил никто из *значительных* людей.

Царь отказался сам принять текст ответа и просил передать его министру Двора. В крестьянской стране, где крестьяне как один требуют "прямого доступа" своих представителей к Царю, этот шаг произвел глубокое впечатление. Вообще, подобные шаги необратимо разрушают романтический ореол Царя.

Правительство, начиная с декабря, всячески оттягивало созыв Думы, в частности, под тем предлогом, что оно само должно тщательно подготовиться к этому событию.

Когда же Дума, наконец, собралась, правительство не вошло в нее *ни с одним законопроектом*.

Вся деятельность Думы свелась к подготовке ответа на приветственную речь Царя. Ответ был принят единогласно. Граф Гейден и несколько его товарищей заявили, что не согласны *только* с редакцией ответа и покинули заседание, чтобы не нарушить единогласие.

В ответе содержались следующие требования: (1) четырехсоставная формула избирательного права; (2) устранение произвола чиновников, стоящих между народом и Царем: их деятельность должен контролировать парламент; (3) ответственность министров; (4) парламентарный режим; (5) ликвидация Государственного Совета; (6) гарантии личности; (7) свобода слова, прессы, объединений, собраний и стачек; равенство всех перед законом; отмена смертной казни; рабочее законодательство; реформа налогов; бесплатная народная школа; перестройка самоуправления "на основе всеобщего избирательного права"; распространение правовых отношений на армию; "культурная независимость" национальностей; амнистия всех осужденных по политическим, религиозным и земельным делам.

Было получено согласие: изменить избирательное право, хотя и не теперь, поскольку начала работать только что избранная Дума; рабочее законодательство; всеобщая школа; справедливое распределение налогов, в частности, подоходных и на наследство; реформа самоуправления с учетом традиций нерусских народов; гарантии неприкосновенности личности и личных свобод, впрочем, с оговорками об "эффективном" пресечении злоупотреблений свободой; судебная ответственность служащих; отмена внутренних паспортов; отмена сословных ограничений крестьянства и обеспечение крестьян землей через Крестьянские банки, из государственных земельных фондов, а также помощь в переселении – экспроприация земли исключалась.

Все другие требования были более или менее определенно отклонены, в первую очередь требование амнистии. Было обещано лишь "тщательно проверить" обстоятельства всех еще не решенных судебных разбирательств.

Рассматривать конкретную деятельность Думы бессмысленно, потому что фактически она была сведена к нулю. Когда обструкцию со стороны правительства, наконец, удалось преодолеть, Дума продемонстрировала редкую энергию. Основная работа шла в комиссиях. Все предложенные на рассмотрение комиссий законопроекты к началу июля были почти подготовлены. Аграрный проект обсуждался на заседаниях Думы две недели; по нему выступили почти 100 депутатов. Затем он

был передан в комиссию, состоявшую из 91 человека. Она вместе с бесчисленными подкомиссиями работала 4 недели и придала проекту общий вид, удовлетворявший большинство: версия Думы в основном совпала с кадетской.

Не то, что Дума обещала слишком *мало* деятельности, а то, что слишком *много*, привело буквально в шок придворные круги: это сулило им большие неудобства в будущем. Попытались, было, поставить Думу в ложное положение, предложив ей проект 50-миллионного займа для смягчения последствий предстоящего тяжелого неурожая. Но Дума одобрила 15 миллионов и пообещала в дальнейшем еще, отметив, впрочем, что необходимые суммы должны быть сэкономлены. Все это несмотря на то, что финансовый анализ Коковцева (в общем, на редкость темный) не доказал, что заем действительно необходим.

Большинство Государственного Совета во главе с "группой центра" присоединилось к точке зрения Думы, и это было тяжелым ударом для правительства. Его положение становилось все более трудным: нужно было либо распустить Думу, либо подчиниться.

***

Тактически удобный случай подвернулся, когда Дума раскололась, и кадеты оказались в изоляции. Правительство воспользовалось этим.

Роспуск Думы и перерыв в работе Государственного Совета произошли буквально перед обнародованием Царского "Манифеста", который даже по русским стандартам выглядит поразительно. В нем указывалось, что Дума "вместо того, чтобы заняться законодательной деятельностью", отклонилась от своей прямой компетенции, занявшись расследованием деятельности "созданных по нашему указанию властей", а также якобы усовершенствованием "основных законов, изменение которых возможно только волей Государя".

Последнее заявление повисло в воздухе, потому что Дума ни в коем случае не пыталась вырвать из рук Императора его полномочия. Право интерпелляции в связи с незаконными действиями властей полагалось Думе по конституции.

Что же касается законодательного творчества, то оно выражается не в речах на пленарных заседаниях, а в работе комиссий, а по этой части ни один парламент в мире не делает сейчас больше, чем русский. Его вина лишь в том, что он не угождает Царю.

В преамбуле Манифеста с фальшивым религиозным пафосом, который сегодня кажется таким неуместным привеском к монархическим декларациям, говорится, что "Император полагался на *милость Господню*". Но затем манифест добавляет, что "ожидания Императора были прискорбным образом обмануты". А в конце говорится, что теперь он решил положиться на людей: "Мы верим, что появятся герои слова и дела и что благодаря их самоотверженной работе воссияет российская слава".

Допустим, что такое признание собственной импотенции может подвигнуть "героев", таящихся где-то в безвестности. В политических условиях нынешнего режима такими героями могут оказаться разве что личности вроде Дурново или Трепова, или Столыпина, который должен теперь с поста министра внутренних дел передвинуться на пост премьера. На этих "героев", очевидно, и рассчитывают редакторы Манифеста. Но как раз к ним подходит старое изречение: "Саблей может править каждый дурак".

До поры до времени все может оставаться спокойным, но что если в конце концов массы выйдут из-под контроля вождей?

В другом плане — кажется, что курс русских бумаг упал не слишком сильно. Но это не потому, что банки верят в надежность. Они теперь должны как-то избавляться от облигаций русских займов и соответственно "стилизуют" их курс.

Кого, однако, вводит в заблуждение обстановка на бирже и уступчивость парламента, созданного в атмосфере давления и обмана, тому *помочь невозможно*. Кажется, совершенно исключено, что этот режим сумеет найти какой-то путь к *долговременному* "успокоению" страны: она сама должна себя вытаскивать за волосы из болота — и она должна *захотеть* это сделать. Наиболее же вероятным долгосрочным последствием действий правительства будет дальнейшее падение авторитета Царя в крестьянских массах. Пока этот процесс слегка замаскирован тем, что избирательная процедура искажает народное мнение.

На этом наша хроника кончается. Собственно, даже не столько хроника, сколько очерк социальной и политической ситуации, в которую русское общество привел полицейский абсолютизм, несвоевременно отказавшись от политического наследия Александра III. Положение усугубила и деятельность переходного правительства Витте.

Надо заметить, что почти роковая, возможно, вынужденная склонность современных монархических режимов оберегать "престиж" и "сохранять лицо", привела русское правительство к плачевному результату. Оно не дает своевременно того,

что должно, а когда уступки вырываются у него одна за другой, оно пытается вернуть себе потерянный престиж безжалостным полицейским произволом. Сознание того, что жертвы приносятся тщеславию, парализует партии, которые пытаются остаться верными "парламентарному решению" проблемы; поэтому дикая форма, в которой левые в Думе поносят министров, не встречает со стороны этих партий решительного отпора.

Пока не видно, на базе *каких* уступок со стороны правительства, приведшего избирателей в крайнее бешенство, Дума вообще могла бы выработать программу для сотрудничества с правительством. Не видно, как окажется возможным править страной цивилизованным образом в зыбучем песке, куда ее втянула бюрократия. При резком обострении классовых противоречий любая попытка опереться на имущих обернется *реакцией*.

Существует (и здесь у нас тоже) привычка в случае таких тяжелых родов, какие теперь переживает Россия, искать "виноватых". Естественно, что о монархе и его приближенных не позволяется даже думать в этой связи. Поэтому в моду входит столь – по видимости – легкая "критика" парламентаризма. В глазах всех филистеров виноватой оказывается Дума. Говорят, что она оказалась политически "бессильной" и не сделала ничего "положительного". А чтобы слегка польстить немецкому читателю, добавляют, что русская нация не "созрела" для конституционного режима. Но сперва следует спросить, до чего "созрели" те, кто близок к трону и кто привел страну в ее нынешнее состояние.

Девять долгих месяцев режим только и делал, что с истинно монгольским коварством ставил подножки "правым". Только в середине июня были сделаны первые действительные предложения относительно скромных реформ. Легко было заметить, что они несут на себе печать земского либерализма. Законопроект о мировых судах имел все шансы пройти. Предложения по аграрной проблеме наверняка подверглись бы самому серьезному обсуждению.

Но самого главного правительство не сделало. Оно не дало гарантий против абсолютного произвола полиции, не отменило административный арест и высылку и не ввело ответственность всех чиновников перед независимыми судами, а без этого правительство не могло рассчитывать опереться ни на один слой населения.

Роспуск Думы мог быть выгоден правительству только в одном случае, а именно если оно решилось (вероятно, так оно и было) фальсифицировать выборы. Чтобы оправдать поли-

цейский произвол, ссылались на террористов. Но очевидно, что военное положение, то есть бесправие, только увеличивает число террористических актов и возбуждает симпатии к террористам. Точно так же как революция снизу невозможна без поддержки буржуазии, подавление насильственных действий сверху тоже невозможно без ее – буржуазии – участия.

Вместо этого правительство, похоже, полагается исключительно на прошлый опыт, надеясь, что "машина" – в данном случае бюрократический механизм – "не остановится". Хотя на самом деле она остановится; даже самому неумеренному энтузиазму приходит конец. С другой стороны, не видно, чтобы энергия русского радикализма пошла на убыль. Особенно после того, как в борьбе против нынешнего режима сложилось кадровое ядро социал-демократов и эсеров. И особенно в условиях полного развала экономики.

Русский освободительный лагерь не может ничем поразить внешнего наблюдателя. Прежде всего потому, что за исключением маловнятной аграрной программы все его требования утратили для нас на Западе привлекательность *новизны*. Они потеряли оригинальность, свойственную им во времена Кромвеля и Мирабо, а также лишены чисто политического смысла. Для большинства из нас они тривиальны как ежедневное умывание.

К этому добавляется еще одно: у обеих сторон конфликта нет "большого вождя", который придал бы движению патетическое звучание, способное увлечь, так сказать, "посторонних". Ни прекрасный политический публицист, ни эксперт по социально-политическим проблемам не могут быть "вождями". Тут нужен практический революционер, пусть и самый отчаянный.

А все, что происходит теперь, производит впечатление эпигонства. Все идеи, выдвинутые разными сторонами, не только по существу, но и по форме выражения – "коллективный продукт". Глядя издалека, невозможно разглядеть сквозь туман программ и коллективных действий какой-либо единичной судьбы; безоглядного идеализма, непреклонной энергии, вспышек надежды и приступов меланхолии могучих борцов – ничего этого нет. Для внешнего наблюдателя отдельные, часто драматические судьбы вплетены в клубок событий, происходящих со всеми. Это порочный круг бессмысленных убийств и беспощадного произвола в таких масштабах, что сама его мрачная жестокость становится привычной.

В наше время сражение на поле боя, лишившееся романтических одежд рыцарства, стало механическим процессом, в

котором участвуют инструменты и объективированные продукты умственных усилий лабораторий и мастерских, воплощающие бесстрастную силу денег. Вместе с тем это постоянное и страшное напряжение нервов для вождей и сотен тысяч солдат.

То же самое происходит и с "революцией". Все в ней – во всяком случае для наблюдателя – "техника" и "крепкие нервы". В России, где полицейский режим комбинирует грубую силу и рафинированное азиатское коварство, участникам борьбы приходится тратить силы на чистую "тактику", "на партийно-технические соображения".

В этих условиях, пожалуй, трудно найти какую-либо роль для "крупной личности". Против полчищ насекомых не помогут никакие великие дела.

А на другой стороне крупных личностей нет вообще. В России множество высокопрофессиональных чиновников; они могут все, но только не выдвигать из своей среды "государственных деятелей", способных осуществлять большие реформы. Этому мешают уже одни династические амбиции – точно так же, как и у нас в Германии. Работа государственной мысли, судя по публикациям, часто поражает серьезностью, но она всегда направлена к одной и той же цели: самосохранению полицейского режима. Объективная бессмысленность этой цели должна внушить ужас наблюдателю. Режим не может реализовать "моральные" и "культурные" ценности, заложенные якобы в нем. И это придает всем намерениям и поступкам самих властителей, но также и "профессиональной работе" слуг государства – даже самых "дельных" среди них – сходство с тем призрачным поездом, который наводит такой ужас на вполне аполитичного героя в "Воскресении" Толстого.

Сравнивают русскую революцию с французской. Не говоря о бесчисленных прочих различиях между ними, достаточно назвать одно: для сегодняшних, даже "буржуазных", представителей освободительного движения *собственность* перестала быть священной и вообще *отсутствует* в списке взыскуемых ценностей. О ее "священности" возвещает сегодня – поздно с точки зрения собственных интересов – сам Царь. Это означает конец всей славянофильской романтики и "старой" Руси.

В русском обществе действуют импортированные новейшие силы крупного капитала, тогда как это общество все еще покоится на фундаменте архаического крестьянского коммунизма. Они развязывают в рабочей среде радикальные социалистические настроения и в то же время противопоставляют им организации ультрасовременного стиля, абсолютно "враждеб-

ные свободе". Пути политического развития в этой ситуации непредсказуемы, даже в том случае, если идея "святости собственности" одержит верх, что по всей вероятности и произойдет.

Из истории России оказались исключены все те стадии развития, на которых сильные *экономические* интересы собственников служили буржуазному движению за свободу. Маломощный промышленный пролетариат пока проявил себя мало, а крестьянские идеалы принадлежат нереальному миру. Таким образом, нигде борьба за свободу не велась в таких трудных условиях, как в России. Нигде она не велась с таким самопожертвованием, и мы, немцы, сохранившие еще какие-то остатки идеализма наших отцов, должны испытывать естественную симпатию к этой борьбе.

Реакционным "реальным политикам" здесь в Германии следует спросить себя: а правильно ли они поступают, возбуждая против себя Россию? Достаточно заглянуть в русские революционные и официальные газеты, чтобы заметить, с каким искусством они используют враждебность к демократам нашей "охранительной" прессы, чтобы отвлечь ненависть народа на нас.

Безусловно, жалкий царский режим, потрясаемый каждой войной до самых оснований, представляется "удобным" соседом. Подлинно конституционная Россия будет сильнее и чувствительнее к инстинктам масс, а потому беспокойнее. Но не следует себя обманывать: эта Россия грядет – так или иначе. И чем раньше, тем лучше, с точки зрения как раз "реальной политики". Теперь, когда мы можем опереться на превосходящую силу, у нас будет больше шансов полюбовно разобраться в хаосе существующих между нами проблем. Будет гораздо хуже, если эти проблемы придется решать нашим внукам: к тому времени все духовные силы этого рвущегося вперед народа обернутся против нас.

Пока обе нации плохо понимают друг друга. Я не встречал до сих пор ни одного русского демократа, который питал бы симпатию к немецкой культуре; это невозможно без глубокого понимания. Что же касается немцев, то бремя нарастающего благополучия и укореняющаяся привычка к "реальной политике" мешает им сочувственно воспринимать возбужденно-нервное существо русского радикализма. Разумеется, во враждебном мире мы должны быть бдительны, но не следует забывать, что мы сами подарили миру самое ценное в ту эпоху, когда были нищим и чуждым остальному миру народом, а будущее "сытых" народов не зелено, а серо.

(перевод А.К.)

МАКС ВЕБЕР

Макс Вебер (1864-1920) – одна из ключевых фигур в социологии, социальной философии и политической философии нашего времени. Он – один из основателей современной социологии. Веберу принадлежат основополагающие идеи относительно предмета и метода социологии. Он предпринял анализ почти всех сфер общественного строя и культуры, создав социологию экономики, культуры, науки, религии и политическую социологию, то есть социологию власти.

Более или менее известна широкой публике его работа "Протестантская этика и дух капитализма". К концу жизни Вебер предпринял попытку свести все свои труды и идеи воедино, но его монументальный труд "Хозяйство и общество" остался незавершенным.

Среди многочисленных идей Вебера – идея "безоценочного суждения" в социологии. Один из ее аспектов – разделение науки и политики как двух разных сфер: наука – сфера незаинтересованного анализа, а политика – сфера волевого выбора. Знание, по Веберу, не вынуждает человека к определенному поведению; в своей практической жизни человек остается свободен выбирать. Это и происходит. Закономерное течение жизни как природы постоянно прерывается волевыми актами. Агенты волевых действий – харизматические личности и харизматические группы.

Представления о роли харизмы в истории занимают огромное место в социальной теории вообще и в теории власти Вебера, что сближает его с Ницше и до некоторой степени превращает его взгляды в синтез марксизма и ницшеанства. Это не простая комбинация, а именно синтез, поскольку Вебер, разумеется, и не марксист и не ницшеанец.

Две работы Вебера о первой русской революции вполне характерны для его творчества. Политологи ценят их как работы, в которых высказаны важные идеи относительно смены структур власти и революционного процесса.

Те же, кого интересует не сам Вебер, а русская революция, смогут найти в работах Вебера наблюдения и диагнозы, позволяющие сделать принципиальный скачок из представлений о русской революции официальной советской историографии и господствующей на Западе либерально-консервативной историографии, мало чем отличающейся от фольклорной антисоветской.

Работы Вебера, даже через 70 лет после их публикации на немецком языке, на фоне концепций, появившихся после второй мировой войны в результате изучения процессов экономического развития в периферийной зоне капитализма, лучше позволяют понять исторический смысл русской революции, подтверждая ее всемирно-историческое значение, но изменяя ее традиционное толкование.

Первая из двух работ Вебера "Перспективы буржуазной демократии в России" опубликована в журнале "Синтаксис" №22.

А. К.

●

Семен Лунгин

ТЕНИ НА АСФАЛЬТЕ

Все долгие последние годы моей жизни и особенно теперь я постоянно перебираю в памяти все, что связано с Виктором Некрасовым, с первых мгновений знакомства, с самого начала нашей редкостной дружбы, как говаривали в доброе старое время, дружбы домами. Я знал его большую половину моей жизни. Наш дом на Калининском стал очень скоро его московским домом. А мы гостевали у них в Пассаже, в Киеве, а потом, после его изгнания, в Париже, на пляс Кеннеди 3, главным образом, когда его домочадцы бывали в отъезде.

Поэтому пусть никого не удивляет, что я пишу эту историю, употребляя прямую речь, словно бы сочиняя. Мы с Некрасовым столько раз проговаривали ее, как всегда, перебивая друг друга, проигрывали, развлекая наших гостей, а мы очень любили изображать разные сценки и разных людей, и друзья наши могут подтвердить, что я верен здесь не только духу событий, но и их букве.

Нас очень всегда радовал этот наш маленький "театрик для себя" и когда мы валяли дурака, пародируя что-то, и когда в трусах, перед большим зеркалом у нас в передней напрягали "ну так не самые могучие мышцы" и втягивали животы, изображая стройных циркачей-силачей. Господи, до чего же нам бывало весело вдвоем и безо всяких "ста грамм"!..

Все наши совместные истории от многих повторений становились своего рода "устными рассказами", и сейчас, в горькое время сиротства, когда он покинул нас, я решил вспомнить, как произошло наше знакомство. Все, что тут написано – правда, и если есть погрешности, то только в том или другом выражении, но не в их смысле.

Итак, мы познакомились в сорок девятом.

По стране, набирая силу, гулял "космополитизм". И меня этот морок тоже захлестнул своей удавкой. В те годы я преподавал в МГТУ – городском театральном училище, ставил первое действие "Снегурочки" с третьекурсницами. Получалось довольно мило. Однако, после зимнего просмотра на педсовете один народный артист по фамилии Свободин, числящийся тогда во МХАТе, сказал – я очень хорошо запомнил не только его слова, но и интонацию, с которой они были произнесены, и "охотнорядское" выражение его лица, – "Весьма сомнительно, что педагог... как его... Луг... нин, что ли, сможет научить наших студентов вольному русскому стиху Островского"... И никто из моих коллег, тоже преподающих мастерство актера, представьте себе, ни единый человек из тех, кто видел мои работы уже не первый год и нахваливал за них и меня, и моих ребят, не возмутился, а все прочно стиснули губы и принялись изучать свои пальцы. А ведь мы должны были постепенно перейти от первого действия ко второму и далее сыграть всю пьесу как дипломный спектакль. Увы, смолчал и я.

В моей жизни было два явных случая, когда я так постыдно промолчал, что до сих пор содрогаюсь от гнева на себя и презрения к себе. Вот этот – один из них. Первый. А второй, если хотите, когда моего старшего сына выгоняли из школы. Из седьмого класса. За то, что он развесил на доске и по стенам превосходные репродукции импрессионистов. Растлевал детей буржуазным влиянием. А это было в то время более чем серьезное обвинение. Школа-то привилегированная, с французским языком, тогда еще единственная в Москве. Директор просил меня сдерживаться и молчать. И все будет – в порядке... А на кой ляд мне нужен был их "порядок"?.. "Порядок", который я ненавидел. Ух, как они мучили мальчишку... Как эти отвратительные упыри, выхваляясь друг перед другом, клочьями рвали с него кожу... А сын глядел на меня испуган-

но и не понимал, что со мной случилось, почему я молчу, словно завороженный, и не защищаю его, когда надо было "психануть"... Наверное он и до сих пор этого не понимает... Вот – второй случай. А написал я о нем только потому, чтобы сбросить с души тяжкий груз. Да вряд ли удалось...

Итак, с Некрасовым мы познакомились весной 1949 года...

А черная волна накатывалась все круче, все шире разливалась и, наконец, добралась до театра Станиславского, где я тогда работал.

Как-то меня вызвали в директорский кабинет и объявили (я ждал этого и все думал, как они мне скажут? А все вышло очень просто), что отныне должность моя упраздняется и я могу убираться на все четыре стороны. И дело тут исключительно в простом сокращении штатов и ни о чем другом я, естественно, не должен думать. Но, если я хочу дождаться лучших времен, хотя они едва ли предвидятся, то меня хоть сейчас могут оформить рабочим сцены, причем не формально, а по существу – устанавливать декорации. Правда, в свободные часы, сверх того – если я готов заниматься текущими делами: вводить новых исполнителей на роли, следить за состоянием спектаклей и прочее – то в такой подсобной режиссуре мне отказа не будет, конечно, не афишируя это, и без дополнительной оплаты. Короче, в профессиональном значении жизнь моя становилась вполне бессмысленной.

Вот как раз в эти-то дни я и познакомился с Виктором Платоновичем...

Однажды в расписании объявили, что тогда-то с 15 до 17.30 состоится читка новой пьесы "Опасный путь" лауреата Сталинской премии Виктора Некрасова. Читает автор. Это было новое имя. В среде драматургов я о нем еще не слышал и ничего из созданного им не читал.

Мы закончили репетицию ровно в три и поднялись в верхнее фойе. Там уже собралось много народа. Мебельщики поспешно расставляли стулья из разных спектаклей, сдвигали банкетки. Скоро все расселись, еще переговариваясь, но постепенно затихая, готовясь слушать.

Все с любопытством поглядывали на автора, очень (во всяком случае, на первый взгляд) моложавого человека, который в это время как раз снимал пиджачок и аккуратно умащивал его на спинке стула.

Из актерских негромких разговоров я узнал, что кое-кто из старых студийцев еще довоенного "разлива" его помнит. Он, вроде бы, приходил на Леонтьевский прослушиваться к Станиславскому, но не прошел. И еще говорили, что он будто бы последний, кого Константин Сергеевич экзаменовал лично.

"Старики" стали ему кивать, как знакомому. Он отвечал на кивки, словно тоже кого-то вспоминая. Во всяком случае, в его колючих глазах вдруг вспыхнул какой-то "узнавательный" огонек.

— Вы сами объявите, — осведомилась директриса и, справившись по бумажке, добавила, — Виктор Платонович?

— Сам... Спасибо, сам, — весьма деликатно, но определенно сказал он, расстегивая третью пуговку клетчатой ковбойки. И теперь его загорелая грудь была видна чуть ли не до пупа. Чуть-чуть присвистывая на "с", он стал говорить о том, что пьеса эта лежала в литчасти МХАТа лет сто, если не больше. Ее улучшали, шлифовали, насиловали все, кому не лень, и довели, видимо, — тут он криво усмехнулся в свои тоненькие пижонские усики, — вот до этого совершенства, — и он поднял папку. Короче, того первого моего варианта, который хотелось бы вам прочитать, здесь нет, есть, правда, дома, в Киеве, но кто же знал?.. Значит, либо отложить, либо читать то, что есть, но за этот текст автор ответа не несет. Как обществу, — он так и сказал: "обществу", — будет угодно...

Обществу было угодно слушать, все сидящие загудели.

А я все еще стоял. Он тоже еще не сел. И помнится, что мы зафиксировали друг друга этакими нейтральными взглядами и уселись каждый на свой стул.

— Во-первых, — как-то торопливо сказал Некрасов и пожал плечами, — тут почему-то написано — "Опасный путь", а не "Испытанье", как было всегда... Видите, мои испытанья уже начались. Ладно, пошли...

И он принялся читать. Неспеша. Внятно. Вроде бы поставленным голосом, во всяком случае, громче, нежели говорил. Он старательно играл за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места. Он читал, часто отрывая глаза от строчек, и проверял, какое впечатление производит его чтение. Я понимал, что этими нехитрыми уловками он рассчитывает вернуть тексту его первоначальный смысл, интонацию и колорит. Выглядел этот "драмкружок" довольно обая-

тельно, что вполне соответствовало некрасовскому облику, особенно в те миги, когда его брови вдруг лезли на лоб и глаза выражали прямо детское удивление по поводу очередной нелепости в прочитанной им фразе. Как он огорчался, хоть вида и не показывал!.. Но я отчетливо слышал, как скрежещет его душа от этих нежданных и незаслуженных обид. Я, пожалуй, никогда потом не видел у него такого расстроенного взгляда... У него всегда хватало юмора одолевать всякую гадость.

– Почему ты не бросил читать? – спросил я его уже много лет спустя.

– А! – с нарочитой киевской ужимкой выдохнул Некрасов и махнул рукой.

... Наконец, добрался он до конца пьесы, с чувством, близким к отвращению, захлопнул папку и тщательно завязал тесемку. Раздались традиционные бессмысленные аплодисменты, на которые появилась директриса.

– Ну, кто желает выступить? – бодро воскликнула она на ходу.

Началась обычная вялая толковня со всеми полагающимися словесными атрибутами: "Новая тема... Явление, схваченное врасплох... В самом зародыше... А что, так действительно было?.. Появление нового героя... Какой же он герой?.. Обогащение драматургического фона... Эгоизм и стяжательство как побочный результат войны... Я не думаю, что такое бывает... Нет, бывает!.. Бывает..." Ну и так далее. Дошла очередь до меня.

Мне пьеса не понравилась. Мне показалось, что все в ней очень задано, что заранее предвидится конец, что кроме постановки вопроса в ней нет ничего неожиданного, но что этого и самого по себе было немало, если бы... Короче, пьеса, на мой взгляд, требовала усилий не столько редакционных, сколько композиционных, конструктивных... Не пойму, но что-то меня злило в этой пьесе, и если бы я не думал, что карьера рабочего сцены от меня все-таки не уйдет даже в самые распрокосмополитические времена, то я бы и не стал выступать, да и автор, как теперь говорят, мне не показался, что-то снобское слышалось в его подчеркнуто-киевской манере говорить, да к тому же расстегнутая до ремня рубаха и густая гривка черных волос, как бы накинутая на покатый морщинистый лоб, тоже не радовали глаз. Эдакий перезрелый пацан с днепровского

пляжа! Все в нем было не по мне, даже то, что под закатанным по локоть рукавом виднелся глубокий рубец – след от, видимо, ужасного ранения... Вроде бы в доказательство чего-то, что и без того известно. В общем, не понравился он, и все тут.

Я поднялся и сказал, что мне, к сожалению, не близок такой тип драматургии, что я предпочитаю пьесы, где меньше "быта" и "текущих" разговоров и что мне всегда бывает неприятно подглядывать жизнь персонажей, так сказать, сквозь замочную скважину – эту фразу он никогда не мог мне простить и даже много лет спустя по всякому поводу говорил: "так как же, через замочную скважину, а вот?..", ну и так далее...

Его лицо, и так темное от загара, потемнело еще больше, стало злым. Кожа на скулах натянулась, но он ничего не сказал в ответ, только поглядел на меня с неприязнью, учтиво поклонился всем, благодаря за обсуждение, и ушел в сопровождении директрисы.

На этом, собственно, и могла бы закончиться эта история, если бы не одно абсолютно непредвиденное обстоятельство.

Через какое-то время меня вызвали в дирекцию и сказали, что возникла необходимость чуть ли не с завтрашнего дня начать работу с актерами над новой пьесой "Опасный путь". Подписывать афишу будет тогдашний начальник Управления театров, он же и выпустит спектакль как постановщик, а всю предварительную работу надлежит проделать мне.

– А монтировочная часть?

Одно другого не касается, – был ответ.

– Но как же?

– Очень просто, – произнесла директриса жестко. – Не хотите, как хотите. Назначим другого, кого-нибудь из артистов, только и всего.

– Ясно, – сказал я. А то, что я так поливал пьесу?..

Значит, вы знаете ее изъяны и поможете их исправить. Как волк в загоне – куда не повернись – смерть!

– Постановщиком, – продолжала она, – руководить вами будет имярек, сам начальник Управления. Вашу кандидатуру мы уже обговорили с ним, и он дал согласие... Мало ли как потом повернутся дела...

О, воистину неисповедимы начальственные пути!.. Откровенно говоря, я тогда даже не мог сосредоточиться, чтобы по-

нять, во благо мне все это или во зло. Ясно было, что меня еще на какое-то время оставляют в театре, и я согласился.

Много лет спустя, когда я уже стал профессиональным сценаристом, я в студийном коридоре нежданно-негаданно столкнулся нос к носу с моим тогдашним постановщиком. Слухи о его крушении уже давно долетели до меня, и я знал, что жизнь его покатилась по печальной колее. В конце концов его наняли консультантом в студийный парткабинет. Выглядел он удручающе изможденным. Видно, какая-то злобная хворь точила его... С тех пор мы частенько встречались на "Мосфильме", и всякий раз он кидался ко мне как к родному, чуть ли не с объятиями, тормошил меня, теребил, всячески высказывая свое расположение. "А помнишь?.. А помнишь?.. — восклицал он, припоминая какую-нибудь театральную мелочь тех лет...

Уж мне-то не помнить?.. Я по минутам помнил тот каннибальский, звериный пятидесятый год... А вот помнил ли он, бывший начальник управления, что-либо, кроме всех этих пустяков?.. Что таилось за его ставшими такими плывущими и тусклыми глазами?..

— Приходи ко мне в кабинет, — десятилетиями выработанным тоном говорил он, забывая при этом добавлять слово "парт", парткабинет.

Да, знаменитая притча о колесе не потеряла смысла и в наше просвещенное время. Вспоминаете, что ответил победителю-фараону плененный царь соседней земли, которого тот вдобавок, для пущего унижения, еще и впряг в свою колесницу вместо коня?

— О чем ты задумался? — спросил царя фараон.

— О колесе, — ответил пленник. — Та его часть, что сверкает на солнце, вскоре утонет в дорожной грязи, а та, что сейчас погружена в грязь, — снова засверкает на солнце...

А после того разговора в дирекции был вывешен приказ о начале моей работы над пьесой лауреата Сталинской премии В.Некрасова "Опасный путь". Постановщик имярек. Режиссер — я.

Я пришел домой и в тот же вечер написал в Киев открытку такого содержания:

"Глубокоуважаемый Виктор Платонович!

Волею случая я назначен режиссером на Вашу пьесу... Благоволите сообщить, когда Вы предполагаете приехать в Москву и уделить мне некоторое время для работы над текстом. С глубоким уважением" и т.д.

Мне кажется, что через неделю, не больше, я вынул из почтового ящика открытку с киевским штампом. Я ее хорошо запомнил — написанную крупными, круглыми буквами, которые я потом узнавал с расстояния в несколько метров:

"Глубокоуважаемый Семен Львович!

Я приеду в Москву такого-то и буду рад встрече с Вами. Но только не для работы над текстом, который мне остоеб. Бог с ним! Может, хватит? Уже поработали над ним всласть... С глубочайшим уважением" и т.д.

Ну, подумал я, это будет трудный случай. Но хоть его открытка и обидно-откровенно пародировала мою, которая, к слову сказать, заслуживала этого, но была информативна и, главное, четко определяла наши позиции. Ладно, поглядим...

Как-то рано утром мне позвонили из театра и сказали, что автор приехал и бродит по фойе. Репетиции еще не начались, театр был пуст, только секретарша сидела уже на месте. Я помчался на Сретенку и заметался по лестницам — театр же в подвальном помещении — бывшая студия Завадского, Каверина... Моего автора нигде не было.

— Он небось во дворе, — сказал мне дежурный пожарный.

Я кинулся во двор.

Некрасов и вправду стоял на залитом асфальтом дворе и курил папиросу, разглядывая отвесную стену многоэтажного дома над театром.

— Здравствуйте, Виктор Платонович, — сказал я, задыхаясь от бега.

— Здравствуйте, Семен Львович, — сказал он, затянувшись "беломором".

Он цепко всматривался в меня, потом ухмыльнулся:

— Значит, автор подглядывает жизнь в замочную скважину? А как же увидеть настоящую жизнь, если ее вам не показывают? А, хлопчик?

И что-то такое презрительное было в этом "хлопчике". Что-то такое неприязненное... Я никогда потом не слышал, чтобы он к кому-нибудь так обращался. И, откровенно говоря, не мог простить ему этого "хлопчика".

— Пойдемте, — указал я ему на ворота, ведущие на сцену.

Мы прошли через сцену. Посредине горела дежурная лампочка на штативе... В щели дверей сочился в партер тускло-зеленоватый, профильтрованный тьмой фойе и коридоров, откуда-то сверху проникший в театр уличный свет. Подвальный дух стоял в плохо проветриваемом низком зальчике.

— Это что, — спросил Некрасов, спрыгивая со сцены в проход, — здесь начинал Завадский? Я же до войны тут... Ну это знаменитое, с Мордвиновым... Тьфу, черт, как его?.. Шоу!

— Да, — сказал я, — "Ученик дьявола".

— Не знаю, — вдруг продолжил он, — понравился бы мне сейчас этот "Ученик дьявола". Сомнительно...

— Почему? — спросил я. — Говорят, был блестящий, настоящий театр.

— Игры было много... — он подумал и добавил: — Всякой "хуйни-муйни"...

Вот так у нас и начался разговор, как теперь говорят, "по делу"...

А тем временем мы дошли до фойе, в котором обычно репетировали. Оно было наполнено серым пыльным воздухом, и пылинки явственно стояли в плоских зеленоватых лучах, перерезающих густой, неподвижный воздух.

— Мы что, здесь будем говорить? — спросил Некрасов и почесался.

— Можно зажечь свет. Или пойдемте в дирекцию. Или туда, где вы читали пьесу...

— Но там же проходной двор. Может быть, пойдем куда-нибудь? — глянул он на меня хитрым глазом.

— А куда?

— На рю де ля Пэ.

— Куда? — переспросил я.

— Моя машинистка там живет и пускает нас с мамой, когда мы приезжаем в Москву. Там и переулок тихий. Плотников.

— На Арбате? Где Диэтический магазин? Так я же живу в пяти минутах ходьбы. Угол улицы Чайковского и Кутузовского проспекта.

— Это где курортология?

— Все знает! — засмеялся я. — Как раз напротив.

— Туда моих друзей пацан в садик ходит... Пошли?..

— Ко мне? — спросил я, не уверенный, что у нас дома все в порядке.

– А куда же?
И мы пошли.

В те годы многое случалось гораздо проще, чем теперь. А может быть, так кажется? Нет, на самом деле. Ну, скажем, пивные. Они были прямо-таки за каждым углом и безо всякой толчеи и скандалов. "Полуторка с прицепом" – это из тех времен, а означало, для несведующих, сто пятьдесят граммов – полуторка и кружка пива – прицеп. Мы уже прошли было мимо одной такой забегаловки, как Виктор Платонович остановился, весьма лукаво, иначе не назовешь, поглядел на меня – о, этот взгляд сопровождал меня все почти сорок лет нашей дружбы! – и кивнул в сторону пивнушки. Я повернулся кру-гом! и послушно пошел вслед за ним.

Сказочный запах разливного московского пива, который я уже так долго не вдыхал. Мы взяли всего по пятьдесят граммов и по кружечке.

– Дурацкая была идейка разговаривать у вашей директорши, – сказал он. – Только это и хотелось! Скажите, вам всегда приходят в голову такие правильные мысли? – Он взял граненый стаканчик. – Ну, давайте знакомиться, – сказал он, – Вика...

– Сима, – сказал я.

– Это что же, от Симон?

– Нет, Семен... Моя нянька была помешана на Серфиме Саровском... И так все привыкли... Скажите, как вы вытерпели всю эту мхатовскую волынку?

– Во-первых, из почтения. По этим коридорам... На этих стульях... Объектив фотоаппарата глядел на того, кого снимал – вот его портрет... Шутка сказать!.. Потом Павел Александрович Марков... Любезные разговоры за жизнь... Не угодно ли стаканчик чайку?.. Ебал я этот чаек!.. Борис Ильич Вершилов: Я обнаружил вас в "Окопах Сталинграда", как в свое время "Дни Турбиных" в "Белой гвардии"... солидно... Все неспешно... А во-вторых – гордыня! Гордыня одолела – лучший театр должен ставить лучшего писателя... А как же! Разве не так?.. Всем ли вы довольны?.. Все ли у вас в порядке?.. Сердечный привет вашим домашним... Надеюсь, все в добром здравии? Мы вам тут же пошлем телеграмму...

Изображая мхатовских мастеров, он изгибался в талии,

шаркал ножкой, говорил медовым голосом, все это проделывал очень смешно, не обращая внимания, что на него смотрят стоящие поблизости и хохочут так же, как и я. А я так просто заходился от смеха. Это было как раз то самое, что я любил, да и теперь люблю больше всего на свете – такую роскошную импровизацию! Мы допили пиво и двинулись дальше к Сретенским воротам, чтобы потом, пройдя по Лубянке, войти в метро "Дзержинская" и ехать к нам. Но тут, как раз за углом какого-то переулка, появилась новая "забегаловка" – дощатое строение, по периметру стен которого изнутри шла полочка из кружек, полных и пустых. Мы взяли по кружечке и только устроились, стоя друг против друга, подняли их к губам, как вдруг некто, тоже стоящий с кружкой в руке и, как я заметил, не спускавший с Некрасова глаз, тронул меня за плечо.

– Отойдем, кореш, – сказал он тихо и отвел меня на несколько шагов в сторону. – Это писатель с тобой?

Я кивнул.

– Который в окопах Сталинграда?

Я снова кивнул. И спросил:

– А откуда вы его знаете?

– В газете снимок видел. Я его по усам узнал.

– По усам только товарища Сталина узнают, – сказал Некрасов, подходя к нам. – Не помешаю?

– Вот товарищ узнал вас по газете, – сказал я.

– Где воевал? – деловито спросил Некрасов.

– Третий Украинский, – ответил незнакомец. – Очень рад, что тебя увидел. Ну, я пошел... – заторопился он. – Желаю успехов... Слушай, а капитан этот... как его?

– Керженцев?

– Это ты?

– Более ни менее.

– Я так и подумал. Жалко, что не вместе воевали.

– Но ты же на Третьем Украинском.

– Вот я и говорю – жалко. Ну, здравия желаю...

– Э-э-э! – воскликнул Некрасов. – Куда? А свои сто грамм? Пойди, возьми, – и протянул мне десятку.

Он впервые обратился ко мне на "ты".

– У меня есть.

– Делайте, что говорят, – приказал он непререкаемо.

– Так точно! – сказал я, подхватывая игру...

Когда я принес от стойки три граненых стакана, обхватив их двумя ладонями, и поставил на мокрую от пивной пены полку, они о чем-то увлеченно говорили.

– И у меня локтевой сустав разбит, – сказал новый знакомый. – Видишь, не сгибается. Кон-трак-тура. Мне было приказано разрабатывать, а я думаю: хрен с ней... – и он махнул сгибающейся левой рукой. – На мой век хватит. У меня же пулевое сквозное, в левом дырка.

– И зря... Я разрабатывал, – сказал Некрасов. – Мне велели делать мелкие-мелкие движения пальцами все время, пока не сплю, делать мелкие движения... Вот я и стал писать, в госпитале, лежа, карандашом. Ну, давайте со знакомством. Ты кто? Майор?

– Капитан.

– И я капитан. Будь здоров, капитан. Я очень рад, что мы повстречались.

– Вы уж простите, что я в вашу компанию...

– Не свисти, капитан. Ну, давайте!..

Мы, запрокинув головы, выпили до дна. Потом он попрощался и ушел.

– Бывает же такое? – сказал Некрасов, он был явно доволен. – Слушайте, Сима, пошли еще в какую-нибудь тошниловку, – вдруг еще кого-нибудь встретим...

Хотите верьте, хотите нет, но все было так.

– Знаете, эта сцена, как из пьесы Арбузова, – сказал я.

– Это – жизнь, молодой человек, словно сквозь замочную скважину...

– Да будет вам, – сказал я и мы вышли на улицу. – Забудьте.

Мы деловито шли по Лубянке, мимо "Стрелы" – закрытого распределителя НКВД, мимо московского управления в прекрасном особняке, за фигурным забором, хотели было свернуть на Кузнецкий, но двинулись к метро. "Детского мира" еще не было, был еще Лубянский пассаж, и отличный ресторанчик в подвале, на углу Рождественки. Туда мы не пошли, а перебежали на другую сторону, к метро "Дзержинская". Там, в угловом доме, тогда был продовольственный магазин. Мы переглянулись и вошли.

Боже, как иногда ярко запоминаются отдельные, вроде

бы несущественные сценки многолетней давности. Я терпеть не могу словосочетания "как сейчас помню", но я действительно сейчас вспомнил, как он сказал: "Можно, я куплю поллитра?" Как я полез в карман. Как он произнес: "Разрешите, я приду в ваш дом с бутылкой?" Как я в ответ сказал: "Тогда я куплю закуску". Как он кивнул и показал на окно: "Встречаемся тут"...

Мы вышли из магазина и двинулись к метро. Солнце било нам в спину, и на тротуаре четкими силуэтами чернели наши тени. Две, примерно одного роста. И я подумал: вот мы идем вдвоем, как шли, наверно, Станиславский и Немирович-Данченко, как раз оттуда, из "Славянского базара", после того исторического разговора... И так же их тени рисовались на тротуаре, только одна высокая, в шляпе, другая сильно пониже, тоже в шляпе. А у нас не было шляп, и ветер, задувавший вдоль Никольской, вздыбливал наши волосы, и на черных тенях было видно, как поднимаются черные прядки...

Дома никого не было.

— Здорово, что мы пошли не на Рю де ля Пэ, а сюда. Большая квартира, а там как-то все давит, — сказал он.

Мы расставили бутылки, их оказалось две, я принес тарелки, разложил колбасу и свежий хлеб.

— Отличный батончик, — сказал он, помял горбушку.

Откупорили одну. Я достал из буфета хрустальные рюмки. Он звякнул одной о другую — дзы-нь!

— Льем в фамильные хрустали, — сказал он. — Ну, Сима, значит какое-то время мы будем существовать, если не вместе, то рядом. А?

— Да, — сказал я, — если только меня не выпрут до этого "какого-то времени".

И я рассказал ему про мои дела.

Он почернел, как тогда на обсуждении пьесы, после моего выступления.

— Ну, что за тра-та-та-та! — воскликнул он. — Что за мерзость!.. Эвреев они не любят, сволочи! Что вы им все глаза мозолите? Давайте...

Мы выпили по первой. Потом я стал рассказывать ему про пьесу. Как по-моему надо ее ставить. Какое оформление. Что следовало бы уточнить, что убрать. Фантазия моя включи-

лась, я почувствовал себя свободным, особенно подхлестнул меня удивленно-заинтересованный взгляд, которым он на меня смотрел. Я вспоминаю эти минуты, как одни из счастливых в моей жизни. Стали говорить о том, про что пьеса. И тут вдруг словно с цепи сорвались и начали говорить, да что говорить — орать о нашей жизни, о том, что творится в стране... Мы кричали, не закрывая рта, перебивая друг друга, о том, как все это ужасно и с евреями, и с немцами Поволжья, и с крымскими татарами, и про весь этот кровавый маразм, что творился вокруг. В Киеве какой-то инженер повесился от ужаса, что его сошлют на Колыму, и всю его семью с ним, и старую маму... — Откуда вы знаете? — спросили его накануне смерти. — Ссылками всегда все кончалось, — ответил он, — а сейчас ими начинается... Где Короленко? — закричал вдруг Некрасов. — Где эти благородные русские интеллигенты, которые всегда говорили правду властям в глаза? Жалкие трусы, почему мы молчим? Неужели нас так запугали, что мы потеряли облик человеческий? Я смолчу, но мама моя не смолчит... Гады! Гады! — он произносил "хады". — Вот уж правда: "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин..." Неважно куда, лишь бы в бой... На ту эврейскую старуху, так на старуху — в бой! А несчастный инженер удавился... Какой позор!.. А ему, — он показал на меня, — эту ебаную "Снегурочку" не дали ставить!.. Тра-та-та-та!.. Вольный русский стих!.. Короленко на них нету!.. Деградация вонючая!.. Ну, японский бог, где Короленко?..

В это время хлопнула дверь. Пришла Лиля. Она была на последнем месяце — носила Пашку — и с трудом таскала свое брюхо.

— Что вы орете, как полоумные, — сказала она. — На площадке все слышно.

— Вот это моя жена, Лиля, — сказал я. — А это Виктор Платонович Некрасов.

Он поднял руку и помахал ей. Лиля тоже махнула ему рукой и ушла.

— Твоя самка на сносях? Ну, хохмачи, нашли время рожать...

И снова он разразился гневной речью, обкладывая все и вся...

Тут раздался тихий лилин голос, она звала меня.

— Ты что, обезумел? — тихо волнуясь, сказала она. — А

если все это слышно? Если они подслушивают? Честное слово, это похоже на провокацию...

— Прекрати, — сказал я. — Это подтекст пьесы. Пойдем туда.

Я взял Лилю за руку и вывел ее в столовую.

Некрасов вроде бы разом отрезвел. Он улыбнулся и сказал тихо:

— Ваш муж гениальный режиссер!.. Он рассказывал мне, как надо ставить мое произведение. Лучше и не мечтаю... Это будет потрясающий спектакль. Выпейте глоточек... Нет, надо! Я лучше всех знаю, что надо, а что не надо... Пожалуйста, из моей рюмки, за нашу дружбу. Этот ваш носач мне очень нравится. Ну, чуть-чуть...

Лиля пригубила рюмку.

— И вы тоже... Такая пузатая, просто прелесть! Хорошая пара, честное, благородное слово... Знаете, возьмите меня третьим...

И мы взяли.

Взяли на все годы и были с ним во всех местах на земле, где нам приходилось вместе бывать. Взяли, когда ему было тридцать восемь, и расстались, когда ему исполнилось семьдесят шесть. Нашему старшему сыну Павлику, оказавшемуся в те дни в Париже, пришлось видеться с ним, уже страшно изнуренным болезнью, и гулять вдвоем по Латинскому кварталу, и провожать его домой в Ванв, и сиживать в кафе, где они неспеша потягивали пиво из высоких стаканов — "деми", как их называют официанты. И Женя, младший наш сын, он и сейчас живет в Париже, постоянно виделся с ним и развлекал, как мог. Только трудно было развлечь дядю Вику в эти дни... Накануне ужасного конца Павлик позвонил в госпиталь, где Вика лежал, и сказал, что приедет его навестить.

— Не надо, Пашка, — сказал ему в трубку Некрасов. — Чего тебе тащиться сюда, в такую даль. Завтра меня обещали отпустить. Встретимся, как всегда, на втором этаже "Монпарнаса", выпьем "деми" и потреплемся. А сейчас даже разговор с тобой меня не веселит... Пока...

А завтра уже не было. Не было "деми", ни "своих ста грамм", не было ни чудесных разговоров о том, о сем, не было его вопросов, что там, у нас в Союзе, у друзей, про которых он хотел знать все.

Он умер 3 сентября 1987 года под вечер, там же, в больнице, где и лежал. Исхудавший, с пергаментной кожей, сильно поседевший и с измученным страданием лицом, без желаний. Господи, как это выражение не шло его натуре. Он так хотел везде быть, все успеть, всех увидеть, все досмотреть до конца. И то, что у нас. И то, что у них...

Он похоронен в чужой могиле на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В чужой, потому что мест на этом русском кладбище уже давным-давно нет. И Галич лежит в чужой, и Тарковский — в чужой. Там под крестом маленькая табличка из белого мрамора, на которой золотом написано "Виктор Платонович Некрасов", а ниже по-французски: "Nekrasov". Дорожки на кладбище засыпаны мелким гравием. Он хрустит под ногами даже в дождь. И когда кто-нибудь идет туда, то слышно.

Да, а спектакль "Опасный путь" прошел бесславно, хотя в нем играли хорошие артисты. Евгений Леонов, Петр Глебов, покойный Борис Балакин, Татьяна Краснушкина, Екатерина Соколова, тоже покойная, — все еще молодые, одержимые. К сожалению, наш постановщик опять перекореживал пьесу, сокращал "левой ногой", выбрасывал важнейшие куски. Эх, да что говорить!

Потом автора вызывали на приемку спектакля. Да что за приемка, когда сам начальник — постановщик. Хозяин — барин. Потом спектакль. Публика хлопала, вызывала артистов, но на душе была тоска. Автор кланялся и с артистами, и один. Наконец, все разошлись и мы остались вдвоем, договорившись устроить банкет после следующего спектакля.

Мы вышли на улицу, дошли до телеграфа, послать телеграмму в Киев, Зинаиде Николаевне.

— Что написать?

— Что все в порядке.

— Я знаю, — сказал он.

И я через его плечо глядел, как он своими крупными, круглыми буквами выводит: "ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА УСПЕХОМ".

Эта фраза стала у нас рабочим термином, и во всяких сомнительных ситуациях он, морщась, говорил:

— Ну что, премьера прошла успехом, а, падла?..

И хохотали.

Однажды в Париже, когда я в первый раз туда приехал, Некрасов повел меня в парк Монсури, где он еще в локонах и платьице гулял с мамой и тетей Соней. Я видел эту старую фотографию.

И когда мы переходили улицу, чтобы войти в ворота парка, я увидел на асфальте наши две тени рядом, и по движениям плеч было ясно, что мы идем в ногу. Я помню наши тени на тропинках Коктебеля, на шоссе, когда мы гостили у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в Карачарово, в Киеве на Бабьем Яре, в Ленинграде, на Кировском у "Ленфильма", я приезжал к нему на съемки "Солдат", в Тулоне, когда выглядывало солнышко между короткими средиземноморскими ливнями... И я все думаю, неужели земля не впитала в себя наши тени, неужели она не запомнила их навсегда?

Скорее в рубрику **"СВОБОДУ ПУШКИНУ!"**

А.Пушкин:

Христос воскрес, моя Реввека.
Сегодня, следуя душой
Закону Бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я, не робея,
Готов, еврейка, приступить
И то во власть тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

Татьяна Толстая

ЛИМПОПО

Могилку Джуди в прошлом году перекопали и на том месте проложили шоссе. Я не поехала смотреть, мне сказали: так мол и так, все уже там закончено, машины шуршат и несутся, в машинах дети едят бутерброды и собаки улыбаются, проносясь в обнимку с хозяйками – мелькнули и нету. Что мне там делать?

Они в таких случаях обычно посылают родственникам и близким скорбное письмо: поживее, мол, забирайте ваш дорогой прах, а не то у нас тут ударная стройка, огни пятилетки и всякое такое. Но у Джуди родственников – по крайней мере в нашем полушарии – не было, а из близких был только Ленечка, да где теперь Ленечку найдешь? Хотя, конечно, его ищут всякие энтузиасты, кому не лень, но об этом потом.

А в прошлом году исполнилось пятнадцать лет, как Джуди умерла, и я, ничего не зная про шоссе, как всегда в этот день, зажгла свечу, поставила на стол пустую рюмочку, прикрыв ее хлебом, села напротив и выпила за помин души рябиновой наливки. И горела свеча, и смотрело зеркало со стены, и неслась за окном метель, но ничего не заплясало в пламени, не прошло в темном стекле, не позвало из снежных хлопьев. Может быть, не так надо было поминать бедную Джуди, а, допустим, завернуться в простыню, зажечь курительные палочки и

бить в барабан до утра, или, скажем, обрить голову, помазать брови львиным жиром и девять дней сидеть на корточках лицом в угол, – кто их знает, как у них там в Африке принято?

Я даже не помню толком, как ее на самом деле звали: надо было как-то по-особому завыть, зубами клацнуть и зевнуть – вот и произнес; нашими буквами на бумаге не запишешь, а имя, – говорила Джуди, – на самом деле очень нежное, лирическое, означает – по справочнику – "мелкое растение из отряда лилейных со съедобными клубнями"; весной все отправляются на холмы, выкапывают эту штуку острыми палками и пекут в золе, а потом пляшут всю ночь до холодного рассвета, пляшут, пока не взойдет алое огромное солнце, чтобы в свою очередь, заплясать на их лицах, черных как нефть, на голубых ядовитых цветах, воткнутых в проволочные волосы, на ожерельях из собачьих зубов.

Так это все у них происходит или не так – теперь трудно сказать, тем более, что Ленечка – вдохновенный сам по себе да еще и поощряемый Джудиной улыбкой до ушей – написал на эту тему кучу стихов (где-то они у меня и сейчас валяются); правда и вымысел так перепутались, что теперь, по прошествии стольких лет, и не сообразишь, плясали ли когда-нибудь на холмах, радуясь восходу солнца, черные блестящие люди, протекала ли под холмами голубая река, курясь на рассвете, изгибался ли экватор утренней радугой, повисая, тая в небе, и были ли у Джуди, в самом деле, шестьдесят четыре двоюродных брата, и верно ли, что ее дедушка с материнской стороны вообразил себя крокодилом и прятался в сухих камышах, чтобы хватать за ноги купающихся детей и уток?

А все возможно! Это у них там экзотика, а у нас никогдашеньки ничегошеньки не происходит.

Пляски плясками, но Джуди, видимо, успела где-то перехватить клочок какого-никакого образования, ибо приехала к нам на стажировку (по ветеринарной части, бог мой!) Размотали платки, платки, платки; шарфы, клетчатые шали, шали из козлиной пряжи в узлах и занозах, шали газовые, оранжевые, с золотыми продержками, шали голубого льна и полосатого льна; размотали; посмотрели: чему там стажироваться? – там и стажироваться-то нечему, а не то что со скотиной бороться: рога, хвосты, копыта, рубец и сычуг, помет и вымя, му-у-у и бэ-э-э, страшно подумать, а против корявого этого воинства –

всего-то: столбик живой темноты, кусочек мглы, дрожащий от холода, карие собачьи глаза — и все, и больше ничего. Но Ленечка был сразу обворожен и сражен, причем резоны для этой внезапно нахлынувшей страсти были, как и все Ленечкины резоны, чисто идеологические: умственный завихрянс, или, проще выражаясь, рациональная доминанта всегда была его основной чертой.

Ну, во-первых, он был поэтом, и пылинки дальних стран много тянули на его поэтических весах, во-вторых, он, как опять-таки человек творческий, непрестанно протестовал, — неважно, против чего, предмет протеста выявлялся в процессе возмущения, — а Джуди возникла как воплощенный протест, как вызов всему на свете: обрывок мрака, уголь среди метели, мандариновые шали в крепком московском январе, под Сретенье! — цитирую Ленечку. По мне — так ничего особенного. В третьих, она была черна не просто так, а — как кочегар, — восторгался Ленечка, — а кочегар, наряду с дворником, ночным сторожем, лесником, привратником и вообще всяким, кто мерзнет ли в полушубке под жестокими звездами, бродит ли в валенках, поскрипывая снегом, охраняя ощерившуюся сваями ночную стройку, несет ли дремотную вахту на жестком стуле казенного дома, или же в тусклом свете котельной, у труб, обмотанных тряпьем, поглядывает на манометры, — был любимым Ленечкиным героем. Боюсь, что его представление о кочегаре было излишне романтическим или устарелым, — кочегары, насколько мне известно, вовсе не такие черные, я знала одного, — но поэта простим.

Все эти профессии Ленечка уважал, как последние плацдармы, куда отступили истинные интеллигенты, ибо на дворе зависло время, когда — по слову Ленечки — духовная элита, не в силах более взирать, как трещит и чадит в вонючем воздухе эпохи ее слабая, но честная свечка, отступила, повернулась и ушла под улюлюканье черни в подвалы, сторожки, времянки и щели, чтобы там, затаившись, сберечь последнюю свечу, последнюю слезу, последнюю букву рассыпанного своего алфавита. Почти никто не вернулся из щелей: одни спились, другие сошли с ума, кто по документам, кто на самом деле, как Сережа Б., что нанялся стеречь кооперативный чердак и как-то весною узрел в темном небе райские букеты и серебряные кусты с перебегающими огнями, поманившие его одичавшую душу пред-

вестием Второго Пришествия, навстречу коему он и вышел, шагнув из окна четырнадцатого этажа прямо на свежий воздух, и омрачив тем самым чистую радость трудящихся, вышедших полюбоваться праздничным салютом.

Многие надумали себе строгую светлую думу о чистом княжеском воздухе, о девушках в зеленых сарафанах, об одуванчиках у деревянных заборов, о светлой водице и верном коне, о лентах узорных, о богатырях дозорных, — пригорюнились, закручинились, прокляли ход времен и отрастили себе золотые важные бороды, нарубили березовых чурок — вырезать ложки, накупили самоваров, ходиков с кукушкой, тканых половиков, крестов и валенок, осудили чай и чернила, ходили медленно, курящим женщинам говорили: "Дама, а воняете", и третьим оком, что отверзается во лбу после долгих постов и умственных простоев, стали всюду прозревать волшбу и чернокнижие.

А были такие, что рвали ворот, освобождая задыхающееся горло, срывали одежды свои, отравленные ядом и гноем, и отрекались паки и паки, вопия: анафема Авгию и делам его, женам его и наследникам его, коням его и колесницам его, злату его и слугам его, идолам его и гробницам его!.. И, отшумев и отерев слюну свою, затягивали ремни и веревки на узлах и торбах, брали детей на руки и стариков — на загривки, — и, не оборачиваясь и не крестясь, растворялись в закате: шаг вперед — по горбатому мостику — через летейские воды — деревянный трамплин — потемневший воздух — свист в ушах — рыдания глобуса, тише и тише, и вот: мир иной, чертополох цветущий, весенний терновник, полынный настой, рассыпается каперс и кузнечик тяжелеет, и... — ах и невинны же новые звезды, и золотые же скопища огней внизу, будто прошел, ступая широко и неровно, оставляя следы, кто-то горящий, — и роятся, извиваясь, золотые сегментчатые черви и сияющие щупальца, и вот, — кроваво-голубой, облитый ромом и подожженный, обжигая глаза и пальцы, кружится, шипя в черной воде, торт чужого города, а море дымящимися языками рек вползает в остывающее, потемневшее, уже замедленное и подергивающееся пленкой пространство, — прощай, помедливший, прощай, оставшийся, навек, навек прощай!..

А иные уцелели, сохранились, уберегли от перемен, пролежали без движения за полоской отклеившихся обоев, за отставшим косяком, под прохудившимся войлоком, а теперь вы-

шли, честные и старомодные, попахивающие старинными добродетелями и уцененными грехами, вышли, не понимая, не узнавая ни воздух, ни улицы, ни души, — не тот это город, и полночь не та! — вышли, вынося под мышками сбереженные в летаргическом сне драгоценности: сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия, просроченные прозрения, аминь; вышли, щурясь, странные, редкие и бесполезные, подобно тому, как из слежавшейся бумаги, из старой кипы газет выходит белый, музейной редкости таракан, и изумленные игрой природы хозяева не решаются прибить тапкой благородное, словно сибирский песец, животное.

Но это теперь. А тогда — январь, черный мороз, двухсторонняя крупозная любовь, и эти двое, стоящие в прихожей моей бывшей квартиры друг против друга и с изумлением друг на друга взирающие, — а ну их к черту, надо было немедленно растащить их в разные стороны и в корне пресечь грядущие несчастья и безобразия.

Ну ладно, что ж теперь говорить.

Мы забыли ее настоящее имя и звали ее просто Джуди, что же касается страны, откуда она приехала, то я что-то не смогла найти ее в новом атласе, а старый сдала в макулатуру, — в спешке, не подумав, так как мне срочно нужно было выкупить макулатурное издание "Засупонь-реки" П.Расковырова: все же помнят, что этот двухтомник хорошо менялся на Бодлера, а Бодлер нужен был одному массажисту, который знал того маклера, что помог мне наконец с квартирой, хотя и попортил крови предостаточно. Не в том суть. А страны я не нашла. Видимо, после очередных боев, дележки, колдовства и людоедства Джудины соотечественники растащили в разные стороны и холмы, и дымную реку, и свежую утреннюю долину, распилили крокодилов на три части, разогнали народ и спалили соломенные хижины. Там была война, вот в чем дело-то, потому Джуди и застряла у нас: денег нет, дома нет и на письма никто не отвечает.

Но поначалу она была просто закутанная, замерзшая и мало что понимавшая девушка, собиравшаяся лечить зверей и доверявшая каждому Ленечкиному слову.

Я-то его хорошо знала, Ленечку, еще со школьных лет, и потому ни доверять, ни уважать не могла, но другим — что ж, другим уважать никогда не мешала. В конце концов он был

славный малый, друг детства, — таких не уважают, а любят, — и мы с ним когда-то торопились сквозь одну и ту же утреннюю железную мглу, мимо тех же сугробов, заборов и качающихся фонарей в ту же красную кирпичную школу, опоясанную снаружи медальонами с алебастровыми профилями обмороженных литературных классиков. И общими были для нас тоска зеленых стен, полы, измазанные красной мастикой, гулкие лестницы, теплая вонь раздевалок и страшноглазый Салтыков-Щедрин на площадке третьего этажа, мучительный и неясный, туманно писавший про какого-то карася, которого требовалось осудить в полугодовой контрольной с лиловыми штампами гороно. Этот Салтыков то "бичевал язвы", то "вскрывал родимые пятна", и за бешеным, остановившимся его взглядом вставали окровавленный фартук садиста, напряженные клещи палача, осклизлая скамья, на которую лучше бы не смотреть.

Крашеные эти полы, и мутный карась, и язвы, и свист ремня, которым порол Ленечку его отец, — все это прошло, горизонт, как говорится, заволокло дымкой, да и не все ли равно! Теперь Ленечка был вдохновенным лжецом и поэтом, — что одно и то же, — небольшим, кривоногим юношей, с баранно-блондинной головой и круглым, неплотно закрывающимся ртом битого кролика. Друзья, они такие. Они некрасивые.

Он был, конечно, борцом за правду, где бы она ему ни померещилась. Попадался ли в столовой жидкий кофе — Ленечка вбегал в общепитские кулуары и, именуя себя общественным инспектором, требовал отчета и ответа; стелили ли сырое белье в поезде — Ленечка воспламенялся и, тараня вагоны, громя тамбуры, прорывался к начальнику поезда, объявляя себя ревизором Министерства путей сообщения и грозил разнести в клочья воровскую эту их колымагу, и кабину машиниста, и радиорубку, и особо — вагон-ресторан: потоптать пюре, раздрызгать борщи и полуборщи ударами могучих кулаков, и всех, всех, всех похоронить под обрушившейся лавиной вареных яиц.

К тому времени, о котором идет речь, Ленечку уже выгнали из редакции вечерней газеты, где он, под лозунгом правды и искренности, пытался самовольно придать литературный блеск некрологам:

В страшных мучениях скончался
ТЕР-ПСИХОРЯНЦ
Ашот Ашотович,
главный инженер сахаро-рафинадного завода, член КПСС с 1953 года. За весь коллектив не скажем, но большинство работников расфасовочного цеха, двое из бухгалтерии и зампредместкома Л.Л.Кошевая еще какое-то время будут вспоминать его незлым тихим словом.

или:

Давно ожидаемая смерть
ПОПОВА
Семена Иваныча,
бывшего директора фабрики мягкой игрушки, наступила в ночь со 2 на 3 февраля, никого особенно не удивив и не огорчив. Пожил и будет. 90 лет, шутка ли!.. Может, кто хочет поприсутствовать на похоронах, так они, скорее всего, в среду, 6-го, если подвезут гробы, а то у нас всякое бывает.

или же:

Хватились только через неделю
ПОЛУЭКТОВУ
Клариссу Петровну,
личность без определенных занятий, 1930 года рождения, горькую пьяницу. Найденная соседями на балконе, не подавала признаков жизни, и уж теперь-то, ясно, не подаст. Все там будем, что и говорить. Эхе-хе.

или, наконец:

Малютка ПЕТР, с огнем играя,
Достиг теперь преддверья рая.
Вкушая райский ананас,
Малютка ПЕТР, молись за нас!

Ленечка был возмущен узостью и черствостью сотрудников газеты, не принявших его стилистики, он усматривал в их позиции скудоумие, стандарт, бескрылость и гонение на творче-

скую интеллигенцию, – и, по-моему, вполне справедливо; – усматривал небрежение русским словом, могучим и ядовитым, а в то же время нежным и гибким, – усматривал нежелание расширять рамки жанра, а главное – лживость, лживость и презрение к простому и страшному, ждущему всех нас, акту смерти простого человека.

Он пил чай у меня на коммунальной кухне, вовлекая в спор и крик моего соседа Спиридонова, тоже измучившегося в борьбе с равнодушными: изобретенный Спиридоновым отрывной бумажный пятак стоил ему раннего инфаркта, развода с женой, исключения из партии и потери иллюзий. Бывший энтузиаст, а ныне потухший, седой человек, Спиридонов выходил со стаканом чая в железнодорожном подстаканнике, подаренном сослуживцами на юбилей, выставлял ванильные сушки, и они, эти двое, бубнили и кричали друг другу: "Гегели долбанутые... он мне говорит: а вы документацию обосновали?.. Фантазия червя...: я говорю: сколько ж одного металла псу под хвост кидаем, это ж Алтайские горы... мушиные мозги со склеротическими бляшками... все автобусные парки – так? весь метрополитен – так?.." – и плакали, обнявшись, о чистом, свежем, о незапятнанном, о доверии к мысли, о любви к человеку, о простой улыбке – да мало ли о чем плакали в те годы! Эх, ба, чу, фу-ты ну-ты, увы, ого, – как печально писали в свое время составители учебника вздохов родного языка Бархударов и Крючков. "Пушкина просрали!" – горячился Спиридонов. – "Эх, Пушкина бы сюда!.." – "Будет Пушкин! Сделаем Пушкина!" – обещал Ленечка.

Он изложил Спиридонову свой план. Я вроде бы интеллигент, так? – говорил Ленечка. Интеллигент... плакаты видели, знаете?.. это тот, кто изображается сзади, за рабочим и крестьянкой, в очках, так и просящих, чтобы по ним заехали, допустим, обрезком трубы или куском застывшего цемента, – с жиденькой, неуверенной улыбкой, готовой перейти в униженную: знаю, мол, знаю свое место!.. Он, плакатный, знает свое место: оно сзади, в дверях, у порога, – и одна ненарисованная нога уже нашаривает ступеньку вниз, обратный ход, путь к отступлению; это то место, куда швыряют, так уж и быть, обноски, обрезки, объедки, опивки, окурки, очистки, ошметки, обмылки, обмусолки, очитки, овидки, ослышки и обмыслевки. Что, дескать, встал!.. Я тебя!.. Ах, не нра-авится?! Не лю-ю-

бишь?! А вот тебе, вот тебе, вот тебе! Взы его! п-падло... Так и норовит цапнуть... Ощерился, вишь, – не нра-авится ему... А ну вали отсюда! с-скотина... Гнать, гнать взашей, эй, мужики, навались, вломим ему!.. А-а, побежал! Беги, беги... Далеко не убежишь... еще разговаривал тут, тля...

Недаром, недаром интеллигент изображается на официальных картинах, – то бишь плакатах, – сзади, изображается вторым и последним сортом, так же, между прочим, как на плакатах, взывающих к дружбе народов, вторым сортом идет негр, – позади белого, чуть отступя. Мол, дружба дружбой, но ведь, товарищи, негр все-таки, понимать надо...

А посему интеллигент (Ленечка) и негр (Джуди) должны соединиться брачными узами, и этот союз униженных и оскорбленных, уязвленных и отверженных, этот минус, помноженный на минус, даст плюс, – курчавый, пузатый, смуглый такой плюс; повезет – так сразу будет Пушкин, не повезет – еще раз ухнем, и еще раз ухнем, а то внуков дождемся, правнуков, и, в гроб сходя, благословлю! – постановил Ленечка. "Дерзай", – вздохнул Спиридонов и ушел, унося юбилейный подстаканник, на котором три серебряных спутника облетали земную горошину с одной-единственной страной на выпуклом боку.

Ленечка стал дерзать.

Момент для этого был самый, надо сказать, туманный, так как именно в это время выяснилось, что Джуди, или как там ее на самом деле звали, остается без гражданского статуса, то есть начисто безо всякого статуса, – на месте ее африканской родины открывается театр военных действий, одна страна ее не признает, другая выпихивает, третья приглашает интернироваться на неопределенное время, а наша исключительно сожалеет, разводит руками, причесывается, продувает расческу, любезно улыбается и рассеянно смотрит в окно, но решительно ничего утешительного на данный туманный момент предложить не может. Не бьет, и то спасибо.

Тетя Зина, Ленечкина тетка, не подозревая еще, какую свинью ей и ее благополучию собирается подложить племянник, говорила Джуди: "Доча, держись. Всем трудно", но дядя Женя, ее муж, находившийся между прочим на взлете своей дипломатической карьеры и ждавший – так уж получилось – назначения в противоположный джудиному угол африканского континента, не одобрял контактов с иностранной поддан-

ной, хотя бы и бездомной, и по мере приближения часа окончательного оформления своих документов все острее и бдительнее следил за собой, чтобы не сделать ложного шага в том или ином направлении. Так, он запретил тете Зине подписаться на "Новый мир", памятуя о его недавней, еще не просохшей ядовитости, вымарал из записной книжки всех знакомых с подозрительными окончаниями фамилий и даже, поколебавшись, какого-то Нурмухаммедова (о чем позже горько сожалел, и, мучая глаза, рассматривал листок на свет, чтобы восстановить номер телефона, так как это оказался всего лишь жулик по ремонту автомобилей) и в последнюю, кризисную неделю даже побил и спустил в мусоропровод все импортные консервы, вплоть до болгарского яблочного джема, и уже покушался на республиканские продукты, но свекольный хрен тетя Зина отстояла своим телом.

И вот вам, пожалуйста, – в тот самый момент, когда он довел себя до неслыханной, невероятной, нечеловеческой идейной чистоты, когда он почти уже светился, как хорошая, спелая хурма, – все косточки просвечивают, и ни единого пятнышка, как ты его ни верти, не найдешь, – нет, нет, нет, не участвовал, не привлекался, не имею, не состоял, не намеревался, не произносил, не встречался, никогда не думал о, в жизни не слыхал, в голове не держал, не имел ни малейшего представления, и ни днем, ни ночью не имел покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет, – вот в этот самый момент мальчишка, сопляк, племянник, а выражаясь научно – близкий родственник, – марает, понимаете ли, его репутацию, по сравнению с коей отшельники горы Афон – просто хулиганы, пишущие в лифтах неприличные слова, псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители!

Так вот, дядя Женя устроил пронзительный визг и биение об пол, так как из-за Ленечкиных матримониальных устремлений его карьера повисла на волоске, а он уже мысленно съездил, отслужил и вернулся, и привез кучу добра: и настенные маски, и коврики, и торшер с начесом, не говоря уже о вещах крупногабаритных; он уже предвидел, как будущие, через пять-шесть лет имеющие возникнуть гости, перейдя из сапог в тапки, обойдут по периметру гостиную, с виду беспристрастные, а в душе раздираемые завистью; как он разрядит атмосферу вечера шутками: достанет из пакетика и будет бросать

об стену резинового гонконгского паука, чтобы тот, цепляясь и обрываясь, и снова цепляясь, мерзко сползал по стене под счастливые крики и испуг дам; как они будут пить чай из синей банки, где на крышке пляшет такая цыпа в шальварах, — в ноздре брильянт, а в глазах, знаете, эдакое, — ложная такая невинность; индийский будут пить они чай, а кое-кто, невелик пан, перебьется и грузинским, — короче, дядя Женя предполагал жить роскошно, жить вечно, но Бог судил иначе, и скажу уж, забегая вперед, что когда он, после нескольких блистательных месяцев своей состоявшейся-таки африканской карьеры посетил национальный заповедник, где дразнил палкой павиана, — то зазевался и был разорван в мельчайшие клочки каким-то проходившем мимо ихним животным. Словно предчувствуя что-то, словно томясь, он все же успел до своей кончины выслать в подарок Ленечке вышеупомянутого липкого паука, но посылка шла так долго, что по прибытии паук оказался просроченным и сползать не хотел, а просто шмякался; так долго, что уже и газеты, обещавшие, что светлая память о дяде Жене навсегда останется в наших сердцах, были сданы в макулатуру, чтобы обернуться, в вечном круговороте превращения материи, обоями по восемьдесят копеек, очередь за которыми длинна и печальна, словно насмешка над нашими чаяниями.

Но все это было позже, а в тот момент дядя Женя был еще живым и счастливым мужчиной: и жена у него была какая надо — дочь военнослужащего, — и плитка в сортире салатовая, чешская, и на стене — для благонадежности — висела балалайка. Так что визг его был вполне закономерен и оправдан.

Он навизжал — на правах младшего, но преуспевшего брата — на Ленечкиного отца, указав ему на черт знает какое воспитание, данное детям: Ленечке, оскандалившемуся в кулуарах печати, — а ведь мог, щенок, вырасти в крепкого, спортивно-международного журналиста, если бы слушался дядю; Светлане, Ленечкиной сестре, девушке распущенной, склонной шляться по кафе и кататься на машинах неизвестно с кем; заодно попало и младшему, Василько, ученику пятого класса, решительно ни в чем не повинному и даже только что занявшему второе место на городской олимпиаде по санкам. Он навизжал на жену, тетю Зину, обвинив в попустительстве, ротозействе, потакании и в том, что муж ее двоюродной тети некогда собирался устроиться на работу в КБ, а между тем дедушка одного из

бывших сотрудников этого КБ жил по соседству с мужиком, владевшим в 1909 году двумя коровами; а это может быть расценено как заведомо опасная близость к кулацким кругам; навизжал на кота, с приближением марта все чаще поглядывавшего за окно, на дворника, на торговок редиской в подворотне, на лифтершу, на сторожа кооперативной автостоянки, на начальника ЖЭКа и даже на хомяка, жившего в клетке на кухне, причем хомяк, выслушав дядю Женю, тут же умер.

Как бы то ни было, визг дяди Жени был страшен, как страшен, должно быть, визг падающего, соскальзывающего в пропасть и держащегося только за пучки травы человека: податливая сухая почва пылит и крошится, и вздуваются, выходя из земляных гнезд, корни, — близко, близко у глаз; и уже выбежал из своего домика встревоженный паучок или муравей, — он-то останется, а ты-то полетишь, расцветая на короткий миг птицей, полотенцем, еще теплой и живой рогулькой, спеленутой собственным криком; ноги уже царапают пустой воздух, и мир готов, кружась и поворачиваясь, подставить тебе свою пышную, зеленую, грубую чашу.

И было мне его жаль, как всегда бывает жаль раздавленных, разбитых в кровь, приснившихся без глаз.

Между тем Ленечка, приказав Васильку приступить к выпиливанию лобзиком полочки, на которую он поставит сочинения будущего Пушкина, вплотную занялся Джуди и обращением ее в свою поэтическую веру. Ни к себе домой, ни, естественно, к дяде он ее привести не мог, и моя коммунальная кухня, оживляемая инвалидом Спиридоновым, оглашалась безумными Ленечкиными текстами, протестами и тостами.

"Ну что ты хочешь? Говори! все сделаю!" — разбрасывал Ленечка стандартные любовные посулы, напившись чаю с пряниками инвалида.

Джуди смущалась. Она хочет скорее стать ветеринаром. Она хочет приносить пользу и лечить зверюшек... Коров, лошадей... — Милая, это не называется зверюшки, это крупный рогатый скот!.. — Лошади — не рогатый... — Напрасно так думают! Напрасно! — кипел Ленечка — Рога у лошадей были, но отпали в процессе эволюции, когда лошадь слезла с деревьев, повинуясь общественной потребности, и вышла в поле, к мужику, где рога только мешали. А у вас в Африке есть коровы и лошади? А они впадают в зимнюю спячку? — веселился поэт. И объяс-

нял Джуди, что корова, сдав все дела и распорядившись насчет теленка, уходит в лес, роет ямку и, уютно устроившись, свернувшись калачиком, спит до весны, заметаемая снегом, с нежной улыбкой, сомкнув прелестные свои очи, воспетые в нашем и не нашем эпосе, и снятся ей быстрые ручьи да зеленые луга в россыпях ромашек, — а охотники, построившись цепью, уже идут на зимний промысел с фонарями и красными флажками, и шарят граблями по сугробам, и подымают спящую ухватами, — вот почему мясо у нас только мороженое, это ж вам не зебу.

А вот сойдут снега, Джуди, дорогая, поедем за город, в густые леса и широкие поля, — ели темные, пни огромные, — увидишь нашу северную фауну, кудрявых шелковых соловьев с голубыми очами, белорунных овец о серебряных копытцах, что поют чудные песни с припевами над бегущими водами, а какие у нас коты в кафтанах рытого бархата с медными пуговицами, а какие козлы — знала бы ты — политически грамотные, опрятные, с твердой гражданской позицией, в стальных очках! А наши пауки, а мухи — веселые, в красных сапожках, с пряниками под мышкой, — скажи, Спиридонов! Выше голову, Спиридонов, пьем за паука!

Нельзя сказать, чтобы мне очень уж нравился этот ежевечерний шабаш, эта колготня и чаепитие на моей небольшой территории, — у меня были свои планы на жизнь и кое-какие мечты: выйти замуж, перевезти к себе маму из Фрязина или поменяться на однокомнатную квартиру, все это, правда, как-то, едва наметившись, путалось и разваливалось, и не то, чтобы не было мужей или вариантов обмена, — все было, но какое-то завалященькое, убогое, пятого сорта, с изъянами и кавернами, флюсами и перекосами.

Нельзя же было всерьез отнестись, например, к жениху Валерию: крепкий, высокий, очень себя за это уважавший, с лицом милиционера или ответственного работника, Валерий ел много мяса, держал дома гири, экспандеры, велосипед, лыжи и еще какие-то необязательные спортивные загогулины; его мечтой было купить синий пиджак с металлическими пуговицами, но тот не давался ни за какие деньги. Без пиджака Валерий чувствовал себя выпавшим из жизненных пазов. Как-то осенью мы шли с ним по ветреной набережной Яузы, был оранжевый холодный вечер, летели последние листья, в небе зажглась чистая звезда и повеяло близкой зимой, тоской, новым,

бессмысленным, неотвратимо приближавшимся годом; ветер поднял и бросил в нас городскую, подмерзающую пыль. Валерий остановился и зарыдал. Я постояла, пережидая, разглядывая небо и звезду в пустоте; я понимала, что слова – ничто, что утешения не надо, понимала, что это – горе, крах, крушение: синий пиджак выходил из моды, проплыв мимо Валерия; розовым утренним облачком, мимолетным видением, журавлями, ангелом в лунной вышине уплывал пиджак, – поманил, растревожил, смутил душу, вошел в сны и прошел, как прошли, отшумев и отблистав, роскошные, пестрые и пряные царства Востока. Отплакав, Валерий утер красной рукой свое негибкое комсомольское лицо, и мы пошли дальше, притихшие и печальные, и расстались у овощного магазина на углу, с тем, чтобы больше никогда не встретиться.

Не годился в женихи и Гарик, духовный человек. Не то, чтобы меня смущали постоянные обыски в его конуре: государство все нападало на Гарика, отбирая его духовные бумажки и картинки, отнимая любимые книжки, а иногда забирая и самого Гарика; не то, чтобы меня пугали шестеро его детей от предыдущей жены, – Гарик был добрый, любящий, милый и на редкость изворотливый юноша: и детей кормил, и бумажки как-то быстренько, неутомимо хлопоча, восстанавливал, – а вот что-то скучно мне было: послушать его – все "вертоград" да "вертоград", да пути, да искания, да благодать, да все сладчайшее да нерукотворное, а жизнь идет, – плохая, но единственная, а в конуре у него хлам, тряпье, пыль, и бутылки с клеем на подоконнике, и постная кашка в подгорелой кастрюльке, и рубище на шатком гвоздике... и неужели же этот, вот этот мир, тщедушный и безобразный, и был обещан и нашептан, возвещен и предчувствован, когда все начиналось, когда раскрывались невидимые ворота и звучал неслышимый гонг?

По правде сказать, хотелось любви, да она и была, потому что любовь есть всегда, вот тут, в тебе, только не знаешь, с кем ее разделить, кому поручить нести чудесную, тяжелую ношу, – тот слабоват, и этот скоро устанет, и вон те, – бежать от них прочь, пока тебя не расхватали, как пирожки с повидлом у "Детского мира", бросая пятачок и заворачивая свою добычу в промасленную бумажку.

Да, хотелось чего-то такого – тяжелее Валериевых гирь и легче доморощенных крылышек Гарика, хотелось уехать или

уйти, или долго, долго говорить, а может быть, слушать, и воображался кто-то неясный: спутник, друг, прохожий, и мерещился путь: ночная тропа, запах прели, капли с мокрых кустов, смех в темноте, и огонь впереди: деревянный дом, и вымытый пол, и книга, в которой про все написано, и всю ночь, до утра, – шум высоких, невидимых деревьев.

И еще... но неважно. Была реальность: кухня, крики, седая щетина Спиридонова, ныряющая в стакан с чаем, теснота и эти двое, эта противоестественная парочка с далеко идущими планами. Форточку мы плотно закрывали, чтобы не слышать далекий, острый как игла, нескончаемый и мучительный крик дяди Жени.

– Вот что, старуха, – намекал Ленечка, – если тебе дороги судьбы российской словесности, отчего бы тебе не вынести раскладушку на кухню?

Я не хотела ни спать на кухне, ни "пойти погулять", ни уехать на недельку во Фрязино, и Спиридонов тоже не хотел, но Ленечка ругался, боролся и поносил нас, – как приватно, в рабочем порядке, так и в стихах, для вечности, – и покупал нам со Спиридоновым билеты в кино на двухсерийные фильмы с киножурналами.

Уже шумела весна – холодная, ночная: уже гудел ветер в деревьях, и в ветре летела вода, и птицы, каркая, сбивались в клубки над сквозными деревьями, над проржавевшими куполами; чистые лужицы дрожали, отражая огни пельменных, рюмочных, чебуречных, и в воздухе дышали, летели, бежали тревога, жизнь, желания – общие, невостребованные, ничьи, – а я брела под руку с угрюмым, волочившим ногу инвалидом Спиридоновым по кривым переулкам, под московской, мусульманской луной, и нога его, зашнурованная в ботинок за четырнадцать рублей тридцать копеек, чертила по Москве длинную, извилистую линию, словно вспахивая бесплодный городской асфальт, словно готовя борозду под незнаемые индустриальные семена. А потом в кинозале, в подмокших пальто, нахохлившись, исподлобья смотрели – я и инвалид – на какой-то мелькающий прокатный стан, болванки, корявых героев труда, раскаленные брусы железа, трактора, свиней-рекордсменок, на плешивых, хорошо покушавших людей в шевиотовых костюмах, растирающих в пальцах колоски, на поток льющегося на нас, идеологически выдержанного зерна, смотрели, покор-

но ожидая, пока где-то там, из факта дружбы бездомных народов не завяжется беззаконный младенец Пушкин, как последняя наша надежда.

К лету Пушкина все еще не было, а жизнь моя стала совершенно невыносимой: международные любовники устроились в моей комнате как у себя дома, ели лапшу из кастрюльки, играли на зурне, ходили голыми и даже пытались разводить на полу костер в каком-то железном кульке; Ленечка купил Джуди для научного развлечения белых мышей и белого же, мужского пола, кота; будучи убежденным пацифистом, Ленечка навязывал коту свои взгляды: разработал систему просветительных лекций и проводил практические семинары по воздержанию от мышеядения.

С деньгами у Ганнибалов было всегда плохо: Ленечка устроился было на полставки в женский календарь как обозреватель рецептов национальных кухонь. Но правдолюбие и здесь сослужило ему дурную службу, так как в календаре не хотели низких истин, критиканства и разоблачений, не хотели рецепт майского салата начинать словами: "Будем откровенны: жрать нечего", не хотели посланий и проповедей вроде: "Если рыночный помидор тебе по средствам, остановись и вопроси себя: так ли ты жила? Где согрешила? Когда оступилась, свернув с узкой стези добродетели на торную дорогу соблазна?.." — и его опять выгнали, и он опять гордился и негодовал, и немедленно завел себе пару друзей, а вернее, учеников и последователей, — бородатых, в помятой одежде, увешанных крестиками и бубенчиками, с блуждающими улыбками и отрешенными коровьими взорами, и, пригласив их к себе, а вернее, ко мне, читал им назидания, учил выбирать неложные пути и предъявлял в качестве наглядного примера кота, который, испытав силу Правдивого Слова, стал уже совершеннейшим буддистом и трансцендировал все земное и преходящее, а также пробегающее.

Теплое лето, опустевший воскресный город — я уходила слоняться по переулкам, выбирая старые, глухие углы, где пахнет пивом, пролитым в пыль, дешевой штукатуркой, досками строительных заборов, где из стен домов торчит дранка, а одуванчики — топчи их, не топчи, — невинно и тупо пробиваются у подножий сараев и храмов со времен Ивана Калиты. Тяжкий блеск церковного купола вдали, немолчный и бессмысленный шелест листьев, уже потускневших, бегучие пятаки солнечных

пятен, вонь и ветошь вокруг гаражей, трава в тени лип и земляные плеши во дворах, на площадках, где сушат белье — тут прожить, тут и умереть, так никого и не встретив, никому ничего не сказав.

Может быть, и был один человек в другом городе... но неважно, какая разница, если ничего из этого не вышло, и сейчас, после стольких лет, я одна выпью рябиновой наливки за помин Джудиной души и долго буду смотреть в пламя свечи, и ничего в нем не увижу, кроме сияющего лепестка с белой сердцевиной, кроме пустоты, горящей в пустоте...

Прощай, Джуди, скажу я ей, не ты одна пропала ни за грош, пропадаю и я, все звери моей породы разбежались кто куда, — ушли за зеленые летейские воды, за стеклянную стену океана — он не раздвинется, чтобы дать проход; кто зазевался — подстрелен, охотники славно поохотились, усы их в крови, и к зубам прилипли свежие перья; а те, что прыснули во все стороны в отчаянной жажде выжить, — поспешно переоделись в чужие шкуры: прилаживали рога и хвосты у осколков зеркал, натягивали перчатки с когтями, и теперь уже не отодрать бутафорскую, мертвую шерсть. Я встречаю их иногда, и мы смотрим друг на друга мутно, как из-под воды, и надо, наверно, что-то говорить, а говорить бессмысленно, как тогда, когда уезжаешь, а тот, другой, провожает, и ты стоишь в вагоне, за двойным немытым стеклом, а тот, другой — на перроне, в порывах ночного дождя, и вы оба напряженно улыбаетесь: все слова сказаны, а уйти нельзя, и киваешь головой, и чертишь пальцем на ладони волну: "пиши", и тот, другой, тоже кивает: понял, понял, напишу, — но он не напишет, и вы оба это знаете, а поезд все стоит, все не трогается с места, все никак не начнутся толчки, белье, рубли, долгий говор соседей, темный приторный чай, промасленная бумага, тусклый промельк фонарей на пустом полустанке, бисерное, вспыхивающее золото дождевого пунктира на стекле, косой и грешный взгляд солдата, качающаяся теснота коридора и срамной холод сортира, где грохот колес сильней и оскорбительней, и из полумрака близко и нелестно смотрит на тебя твое собственное отражение — унижение — поражение... — все это впереди; а поезд все стоит и не трогается, и твоя улыбка натянута и готова сползти, оплыть слезою, и в ожидании толчка, конца, последнего взмаха ты шевелишь ртом, шепча бессмысленные слова: восемьдесят семь, семьде-

сят восемь; семьдесят восемь, восемьдесят семь, — и по ту сторону глухоты тот, другой, тоже шевелится и с облегчением лжет: "обязательно".

Тут как раз Спиридонов, испортивший зубы дешевыми сушками и сокрушительным ежевечерним кипятком, вынужден был заказать себе новые коронки. Рассеянный инвалид полагал, что ставит золотые, однако его прямо во рту обворовали на приличную, как выяснилось позже, сумму. Впрочем, разнообразие металлов в его пожилом рту создало редкий, но чудесный эффект: Спиридонов стал сам, безо всяких дополнительных приборов, принимать радиопередачи. Из него плыли тихие танго, далекие иностранные голоса, молитвы, вопили футбольные матчи, бушевавшие неведомо где; работал он обычно на коротких волнах и включался к вечеру. В ранние часы он передавал какую-то дребедень, — "Вам, пытливые", или же концерт по заявкам механизаторов, но чем больше сгущалась тьма, тем таинственнее бормотал и смеялся мир, и огни вырывались из мрака, и какие-то цветные фонари, и барабаны... и где-то бежала вода, вся в огнях — что это за вода, и что это за огни, и о чем говорят барабаны, — откуда нам знать!.. А в полночь инвалид вещал, кажется, по-португальски. А может быть, и не по-португальски, откуда нам знать! Ах, какой это был прекрасный язык! Плоский тугой океан мерно бил в берег длинной, как хлыст, волною, пестрые паруса входили в гавани, и каменные ступени спускались к воде, и пахло ракушками и вареным рисом, и суровые женщины громко пели под красными крышами о цветах, о убийцах, о кораблях, груженных мочалом и лаковыми коробочками, птицами и бусами, лиловым шелком и душистым перцем. А может быть, все там было совсем не так, — откуда нам знать, если мы этого не видели и никогда, никогда, никогда не увидим, — никогда, до самой смерти, до скрипа дешевого крашеного гроба из сырого горбыля, спускаемого на волосатом вервие толчками, рывками, последними земными аршинами в осенний супесок, суглинок, краснозем!.. — до последней астры, царского цветка, вдавленного в ноябрьскую землю, с головкой, откушенной каблуком сизого, торопливого могильщика! Никогда, никогда, — пел Спиридонов; — никогда, — плакала я, "никогда", — кричал Ленечка, — время встало, пространство высохло, люди попрятались по щелям, купола проржавели и заборы оплетены белым вьюн-

ком, крикнешь – не слышно, взглянешь – не поднять сонных век, пыль стоит до облака, и могила Пушкина заросла густой лебедою! – кричал Ленечка. Над густою лебедою гуси-лебеди летят! То как зверь они завоют, то ногами застучат! Гуси-лебеди с усами – страшно девице одной; это ты, Иван Сусанин? Проводи меня, родной! Нашим планам нет предела, всем народом рвемся ввысь, и в распухнувшее тело раки черные впились! Едут греки через реки, через синие моря; все варяги едут в греки, ничего не говоря. Холодок бежит за ворот, пасть разинул соловей: не сдается лютый ворог милой родине моей. Соловей хрипит на ветке, гнется дерево под ним; "кукареку" – вопит в клетке шестикрылый серафим; птичка божия не знает ни пощады ни стыда: сердце с мясом вырывает и сжирает без следа. А струна звенит в тумане, а дорога все пылит... Если жизнь тебя обманет – значит, родина велит.

Но Спиридонов, глухой к Ленечкиной упаднической поэзии, мечтал о своем, и планы его были грандиозны: какие-то антенны, усилители, мотки проволоки, радиолампы, цветомузыка, – да что цветомузыка, он уже собирался озвучивать воображаемые танцплощадки и стадионы, он уже размечтался о телевизионном изображении, о фестивалях, кроссах дружбы, вручении олимпийских медалей, установке поздравительных статуй на родине – в мраморе по шею, в бронзе по титьки, в граните, с мечом в руках, в пятиэтажный рост; он уже срывал горы и прорубал туннели, перегораживал плотинами реки и перекраивал республики, он уже выходил в открытый космос и оттуда, сверкая фиксами и вращая телескопическими глазами, огромный как Кинг-Конг, сбивал баллистические ракеты и устанавливал вечный мир во всем мире.

А Пушкина все не было.

Тут в квартиру наведались бдительные товарищи из домоуправления, возглавляемые стариком Душкиным, который, если поскальзывался на улице, или если прокисала сметана, иначе, как в Политбюро, не писал. Товарищи хотели знать: зачем шум и музыка, и почему ночью свет? Документики попрошу. Спиридонов взял вину на себя: он изобретатель, работает по ночам, звуки зурны и барабана его стимулируют. Вынес он и показал также свою почетную грамоту за 8-й класс 415-й мужской школы Красногвардейского района, публикацию в "Науке и жизни": "СДЕЛАЙТЕ из старых ЗУБНЫХ ЩЕ-

ТОК удобную новую ШВАБРУ" и музейную вещицу: текст работы Ленина "Как нам реорганизовать Рабкрин", выполненный инкрустацией из рыбьих костей по моржовому бивню неизвестным народным умельцем. Но если нельзя, сказал Спиридонов, то он больше не будет, а документы в порядке, правила проживания нам известны. Мы, слава богу, не маленькие, знаем, что все запрещено: стоять ночью на обочине МКАД, работать без упора, дергать без надобности, заслонять кабину шофера, получать более 600 грамм в одни руки, нарушать целостность упаковки, приносить и распивать, ставить вещи на поручни, торговать с рук, открывать до полной остановки, выгуливать без намордника, провозить зловонное, ядовитое и длинномерное, разговаривать дольше трех минут, спускаться и ходить по путям, высовываться, влезать, фотографировать, оказывать сопротивление, квакать, свистеть, трижды кричать на заре василиском и производить распиловку дров после 23 часов вечера по местному времени.

С товарищами из домоуправления лучше было не шутить; я выгнала Ленечкиных учеников, белый кот ушел сам, подговорив мышей странствовать вместе, – кстати, к осени эту компанию видели в верховьях Волги: кот шел, опираясь на посох, в венке из незабудок, отрешенный; мыши, шесть штук, бежали следом, неся мелкие пожитки, соль и спички, – боюсь, что они зажигали костры в неположенных местах, а мы за них отвечай и вдобавок дядя Женя, – уже прибывший к месту назначения, уже прошедшийся неспешно по комнатам своего нового жилья, уже подергавший, проверяя на крепость, окна, двери, замки, жалюзи, уже распаковавший чемоданы с галстуками в полосочку, галстуками в клеточку, галстуками в павлиний глаз, уже объяснивший тете Зине, как пользоваться кондиционером ("Жень! А, Жень! Чего-то я тут... Чего-то не пойму!") – дядя Женя ни на минуту не утратил бдительности и послал Ленечке письмо диппочтой – копию Ленечкиным родителям, – предупреждающее, чтобы тот прекратил сам знает что и не вздумал это самое; что кое-кто предупрежден и проследит со всей строгостью, ибо на то уполномочен; а если Ленечка не перестанет кое-что, то дядя Женя даст знать кое-куда и тогда будет ай-яй-яй. И пусть Ленечка не думает, что если дядя Женя кое-где, то ему хоть бы хны. Нет, все очень серьезно, потому что – сам понимаешь, а тем более сейчас, когда... – вот именно. Так-то.

Бедный дядя Женя, он писал, задумывался, подбирал оттенки смысла, а смерть его уже вышла из дальних лесов и, принюхиваясь, побежала на мягких лапах, играя мышцами, ему навстречу. Дядя Женя дописал, выпил доступного кофе и глянул в пустую чашку, – и вся кофейная гуща мира, все ромашки, все линии на ладонях, и рисунок дальних звезд, и колоды карт с насупленными королями и самонадеянными валетами уже сложились в простой гробовой узор, доверчиво открывая дяде Жене его близкую судьбу, но он не прочел ее, ибо это знание не было ему дано. И дядя Женя заклеил конверт и задумался о фруктах будущих лет, о морском купании, о шинах для нового автомобиля, о бумагах отчетов и петлях интриг, – сладко-сладко задумался о вещах, которые, конечно же, случились, но не имели к нему уже ни малейшего отношения. Странно думать, что он умер почти в одно время с Джуди, и, пронзая метафизические выси, столкнулся с ней, быть может, в сером свете посторонних светил, не узнав.

Дядя Женя не шутил – он пошевелил доступные ему рычаги, и в октябре – хорошо помню этот день – паника, ленечкины крики, джудины слезы, а ночью, в южной стороне неба, – далекая дрожащая заря дядиженинного злорадства, – в октябре Джуди вызвали в одно неприятное место – казенный дом – и предложили сейчас же уехать вон, куда угодно, но только чтобы вон. Понятно, что мы не спали всю ночь, что Ленечка произносил декабристские речи, что его сестра Светлана, вся густо накрашенная, в крутых локонах, несмотря на поздний час (а вдруг за поворотом любовь?), курсировала от нас к своим родителям (мама-то была совершеннейшая овца, а папа – посвирепей), передавая, с одной стороны, радикальные планы брата: жениться, эмигрировать, уехать на север, на юг, на Марс, устроить акт самосожжения на Пушкинской площади и так далее, а с другой стороны – все, что полагается в таких случаях, и когда под утро Светлана сообщила, что состоялся телефонный разговор с южным полушарием, – причем эти сообщили: "Леня кое-что", а тот ответил: "Вызывайте кое-кого", – мы все: любовники, Спиридонов, Светлана и я – бежали, как говорится, в неизвестном направлении, причем по дороге перессорились; Светлана хотела к морю, так как очень любила моряков и то, что они привозят в подарок девушкам Светланиного образа жизни; я предлагала Фрязино, где у мамы был

свой домик, обсаженный черной смородиной и люпинами, Ленечку манила тайга (как всегда, по идеологическим соображениям), и в результате победил Спиридонов, отвезший нас в город Р., где проживала его сестра Антонина Сергеевна, большое городское начальство.

---- ---- ---

Хотя начальству в городе Р. жилось, как всегда, лучше, чем простым людям — к майским праздникам можно было получить по спискам зефир и китайские полотенца, а то и "Сказки Бирмы" в красочном переплете, а на ноябрьских постоять на отапливаемой трибуне, задушевно помахивая варежкой смерзшимся массам, и многие простые люди, разметавшись ночами в постелях, мечтают о такой жизни, но все-таки и у начальства тоже свои драмы, и ни к чему, мне кажется, так уж сразу, с порога, злословить или завидовать. Так, Антонина Сергеевна, приютившая нас, где-то там в своих эмпиреях отвечала за горячие трубы, и когда в городе Р. стал проваливаться асфальт и люди безвозвратно падали в подземный кипяток, эмпиреи поставили вопрос об ответственности Антонины Сергеевны за этот незапланированный бульон. Но ведь асфальт-то, асфальт был не в ее ведении, а в ведении Василия Парамоновича, и строгое предупреждение следовало вынести ему, сердилась Антонина Сергеевна, хлопая ладонью по светлому полированному столу в учреждении и по темному у себя дома. Но Василий Парамонович как раз в момент проваливания людей отсутствовал — один генерал пригласил его в Нарьян-Мар поохотиться с вертолета на колхозных оленей — и строго предупреждаться решительно не хотел. Он указал Антонине Сергеевне на свою дружбу с генералом как на дополнительный, лилейный оттенок белизны своих номенклатурных риз, и намекнул на то и то, а также на вот это, и, ловко все подведя и передернув, подчеркнул, что если бы не проржавели трубы Антонины Сергеевны, то вода не размыла бы асфальт Василия Парамоновича. Правильно? Правильно. Пока шли взаимные перекоры, вода подмыла деревья Ахмеда Хасяновича, каковые рухнули и придавили пару бездомных собак Ольги Христофоровны, которой и без того пора было на персональную пенсию. Естественно, она-то и понесла в конце концов всю меру ответственности, так как ей припомнили, что подведомственная ей служ-

ба недоотстреляла ничейных собак, и они в течение всего отчетного периода оскорбляли достоинство наших людей в скверах и на детских площадках, а достоинство наших людей — это золотая, неразменная монета, залог и гарантия нашего постоянного заведомого успеха, нашей поднятой головы, ибо лучше умереть стоя, в кипятке, чем жить на коленях, подбирая всякое там не хочу даже говорить *что* за ее распущенными собаками, — безродными, подчеркнем, собаками! — а кроме того, не исключено, что именно ее собаки повалили деревья, разрыли асфальт и прогрызли горячие трубы, что и повело к сварению в родной земле, ни пяди которой мы не уступим, четырнадцати человек, причем западные радиоголоса клевещут, что пятнадцати, но господа — как и всегда, впрочем, — просчитались, так как пятнадцатый выздоровел и заступил на трудовую вахту в артели слепых по производству липкой ленты "Мухолов", и облыжная клевета прихвостней и энтээсовских кликуш и подпевал годится только под рубрику "ха-ха" в районной газете.

Таким образом, истинное лицо Ольги Христофоровны было вскрыто, и она без оглядки бежала на пенсию республиканского значения, чтобы вплотную засесть за создание боевых мемуаров, ибо скакала в свое время в эскадроне, знавала Щорса и даже была награждена именною шашкой, и поныне висевшей поперек настенного, малинового в синих зигзагах ковра, подарка от дагестанской делегации, под которым на узкой кроватке, укрывшись военным одеялом, тосковало ночами ее никем не востребованное девичество.

Замечу уж кстати — полноты картины и справедливости ради — что Антонина Сергеевна, смалодушничав и спихнув с себя вину в истории с вареными р-скими гражданами (а кто бы не смалодушничал?), — Антонина Сергеевна в целом осталась на высоте положения, прекрасно понимая и ценя роль Ольги Христофоровны и ее вклад в наши успехи, в наше светлое, как она говаривала, сегодня; она не вычеркнула, как вполне могла бы, Ольгу Христофоровну из списка престарелых, охваченных тимуровским движением, а ежегодно, в октябре, направляла к ней двух переходного возраста подростков с топором для рубки дров к зиме: в свою очередь, Ольга Христофоровна, из деликатности не дававшая знать, что дом ее давно уже переведен на центральное отопление и в дровах не нуждается, подростков не гнала, поила чаем с айвовым вареньем, по-

казывала, не жалея белой герани на подоконниках, как рубают шашкой, и даже посылала их по дружбе за папиросами – ибо куряка была отчаянная – в недалекий ларек, каковой подростки и вскрыли топором под Новый Год, унеся четыре кило леденцов и по две пачки макаронных изделий "Рожки" для мамы и бабушки; на суде они ссылались на Прудона, учившего, что собственность – это воровство, а также проявили хорошее знание трудов Бакунина; уходя в колонию, обещали по возвращении подать заявления на философский факультет, и долго махали вослед всплакнувшей Ольге Христофоровне тюремными носовыми платочками.

К слову сказать, отличная была баба эта Антонина Сергеевна, хотя и совершенно не нашего круга: зубы стальные, голова в кудрях и загривок высоко подбрит. "Девки! – говорила она нам. – Вы ж не деловые, ну вас к богу в рай, что мне с вами делать?" Пиджак у нее был начальственный, несгибаемый, под пиджаком теплые и необъятные, хотя уже и пожилые просторы в розовой блузке, на горле деревянная брошка, а помада яркая, парижская, ядовитая, – мы все почувствовали это на себе, когда Антонина Сергеевна вдруг вскакивала из-за обильного стола ("помидорков-то! помидорков накладывайте!') и с чувством прижимала наши головы к животу, целуя с нерастраченной силой.

Антонина Сергеевна приняла наш табор как должное, сказала, что очень, очень, очень рада нашему приезду, много хлопот, много работы, и мы ей, конечно, поможем. Дело в том, что в Р. предстоял праздник: ждали в гости племя Больших Тулумбасов, являющееся коллективным побратимом всей р-ской области. Был запланирован трехдневный фестиваль дружбы, по случаю чего все начальство ходило в пятнах волнения. Задумка была серьезная: предстояло создать все условия, чтобы тулумбасы чувствовали себя как дома. Срочно воздвигались фанерные горы и ущелья, веревочный комбинат плел лианы, а свиней, для перекраски в черный цвет, более близкий сердцу побратимов, заставили дважды пересечь вброд речку Уньку, отмеченную еще в летописи XI века: ("И приде князь на Уньку реку. И бе зело широка и видом страхолюдна"), но ныне утратившую стратегическое значение.

Антонина Сергеевна немедленно, сдвинув тарелки, разложила на столе бумаги, и, отмахиваясь от домашней моли, ввела

нас в суть споров руководства. Сама она предложила развернутый план: интернациональное лазание по гладкому столбу, сауна для вождя, посещение фабрики строче-вышитых изделий с вручением подзоров и рушников, ознакомительная экскурсия по городу: руины женского монастыря; дом, где, по преданию, стоял другой дом, строящаяся булочная, возложение комьев земли к деревцу дружбы, подписание совместного протеста против международной напряженности там и сям и чай в фойе дома культуры. Василий Парамонович выдвинул встречное предложение: встреча с активом, экскурсия в кислотный цех химзавода, концерт хора дружинников, вручение памятных конвертов, подписание проекта о выдвижении кого-нибудь из тулумбасов в почетные члены отряда космонавтов и пикник на берегу Уньки с разжиганием костров и рыбной ловлей; подзоры он предложил заменить трудами Миклухо-Маклая на языке урду, в неограниченном количестве поступившими в местные магазины. Ахмед же Хасянович упрекнул коллег в отсутствии фантазии: все это уже было, сказал он, когда принимали делегацию индейцев вака-вака, нужны свежие идеи: массовые заплывы, прыжки с парашютом, или, наоборот, спуск в местные карстовые пещеры, а лучше бы всего – двухнедельный дружеский переход через пустыню, или, наоборот, тундру, причем уже сейчас надо утрясти маршрут и расставить вдоль всего пути ларьки с лимонадом и витыми сметанными плюшками. Преподнести же лучше всего копию известной картины "Муса Джалиль в Моабитской торьме", поскольку она содержит все, что можно пожелать для картины: и национальное, и народное, есть в ней и протест, и оптимизм, выражаемый лучами света, льющегося из зарешеченного окна. Антонина Сергеевна возразила, что окна на картине, насколько ей помнится, нет, а если она ошибается, то тем не менее: тюрьма там изображена изнутри, что может и опечалить, не лучше ли картина "Всюду жизнь", где тюрьма видна снаружи, а из окна высовываются милые детские мордашки, рождающие теплые чувства даже у неподготовленного зрителя? Василий Парамонович, в искусстве не сильный, примирительно сказал, что самое надежное – это плакат "С каждым годом – шире шаг", их на складе несколько сот рулонов, можно подарить каждому из побратимов. На том они и порешили, но теперь Антонина Сергеевна хотела знать наше мнение, как людей, крепче овеянных столицей.

Надо отдать должное Антонине Сергеевне: Джудино прошлое, настоящее и будущее, внешний вид, имя, дурное произношение и одежда, обилием и качеством наводящая на мысль о продукции фабрики "Трехгорная мануфактура" в конце квартала, абсолютно ее не волновали: Спиридонов знал, куда нас вез. Джуди так Джуди, тулумбасы так тулумбасы, пять человек гостей или двадцать пять — Антонине Сергеевне, как женщине, мыслящей категориями и документами, было совершенно все равно.

А уже смеркалось, и в Спиридонове проснулись дальние острова, закипел океан, зашевелились Тринидад и Тобаго, ветерок плеснул в верхушки пальм, упал кокос, выбросил новую колючую стрелку слепой коралл, и раковины раскрыли створки в теплой тьме лагуны, и в дымном сне жемчужницы проплыл, должно быть, Париж, — серым дождем, в винограде огней проплыл, содрогаясь, Париж, как сладкое предчувствие загробного существования. Взвизгнули скрипки, словно тормоза небесных колесниц.

— Ты все-таки будь сдержаннее, Кузьма, — заметила Антонина Сергеевна, подняв голову от бумаг и невидяще глядя поверх очков. — Так вот, тут еще Василий Парамонович хочет вызвать дирижабли — у него хорошие знакомства, — и натянуть между ними праздничные полотнища — серпы немножко, золотые колосья, — эскиз завизирован, — как символы мирного труда. В связи с этим к вам вопрос, товарищи москвичи: текстовка к колосьям нужна, как вы считаете?

При слове "текстовка" Ленечка немедленно, с опасной скоростью начал политически возбуждаться, и, заметив эти нехорошие признаки (пот, дрожь, зарницы протеста в глазах), мы все тихо отступили на крыльцо.

Ранняя осень уже вползла в город Р. и торчала там и сям — где бурыми кустами, где плешью в листве покорившихся деревьев. Пахло курами, сортиром, мокрой травой, вставала луна, такая медная и такая огромная, словно уже наступил конец света; Спиридонов курил, и вместе с дымом из его рта выходила музыка иных миров; небритый и хромой, пожилой и неумный, он был избран кем-то, дабы свидетельствовать о другой жизни, далекой, невозможной, недоступной, — такой, в которой никому из нас не было места. А нашим местом был город Р., заранее понятный, истоптанный, хоть направо пойди, хоть

налево, хоть спускайся в подвалы, хоть заберись на конек крыши, и, упираясь скользящими ногами в проржавевшую жесть и обхватив теплую, картошкой пропахшую трубу, кричи на весь свет, кричи редеющим лесам, синим туманам в холодных сжатых полях, кричи пьяным трактористам, сползшим в борозду с трактора, и волкам, объедающим трактористам штаны и шею, и маленьким сельским магазинам, где лишь сухой кисель да резиновые сапоги; кричи уснувшим жукам и улетающим журавлям, кричи одиноким черным старухам, забывшим дрожь перед свадьбой и вой в изголовьях гробов; кричи: все известно наперед, все истоптано, проверено, обыскано, сосчитано и перетряхнуто, выхода нет, выходы закрыли; в каждом доме, окне, чердаке и подвале уже ходили, проверяли: трогали бочки, дергали шпингалеты, вбивали или вырывали гнутые гвозди, обшаривали осклизлые от плесени или подсохшие с углов подвалы, ковыряли рамы, отколупывая коричневую краску, вешали и срывали замки, двигали кипы свалявшейся бумаги; нет ни одной, пустой, случайно как-нибудь забытой комнаты, угла, коридора; нет стула, на котором бы не посидели; не сыскать медной, душно пахнущей дверной ручки, за которую бы не подержались, скобы или засова, который не двигали бы туда-сюда, — выхода нет, да и сторожа нет, — просто уйти не дано.

А эти, — те, что поют и шумят в огне и дыму в беззаконном рту инвалида, — не ищут ли и они выхода в той, своей вселенной, ныряя, прыгая, танцуя, вглядываясь из-под руки в морской горизонт, провожая и встречая корабли: здравствуйте, матросы, что привезли вы нам: ковры? чуму? серьги? селедку? — расскажите скорее, есть ли иная жизнь, и в какую сторону бежать, чтобы ухватить ее золотистый краешек?

Тяжко вздохнула Светлана, страдая от того, что по всей земле, в шахтах и на самолетах, в ресторанах и каторжных норах, в ночном дозоре и под праздными белыми парусами, недостижимые и прекрасные, шевелятся мужчины, которых она не встретит, — маленькие и огромные, с усами и автомобилями, галстуками и лысинами, кальсонами и золотыми перстнями, с карманами, полными денег и страстным желанием потратить эти деньги на Светлану, — вот, сидящую себе тут, всю в кудрях и пудре, на вечернем крылечке и согласную крепко и неотвязно полюбить каждого, кто ни попросит.

И Джуди сидела, сливаясь с темнотой, и молчала, как и

все. Она давно уже, кажется, молчала, но только сейчас, когда Спиридонов исполнял соло на трубе, стало вдруг слышно, как глухо, бессильно и черно ее молчание, подобное покорному, одинокому молчанию зверя, – того фантастического зверя, которого она хотела лечить, еще не зная и не видя, того, кто позвал ее, поманив копытом или когтистой лапой; на поиски кого она, замотавшись в платки и шали, храбро отправилась вдаль, за моря и горы, – тихого, теплого, полезного друга, покрытого мягкой шерстью, с глупыми темными глазами, с редкими волосами на морде, с таинственной пустотой, дующей из ушей, изрытых розовыми хрящами и каналами, с молоком в атласном животе или столбом прозрачного семени в завитых тайниках чресел; с длинными, винтовыми рогами, с хвостом, подобным волосам гейши поутру, с серебряной цепочкой на шее и маргариткой в беспечной пасти, – зверя ласкового, верного, небывалого, придуманного во сне.

Мне захотелось обнять ее, погладить ее шершавую голову и сказать: ну что, что ты хочешь от нас, глупая женщина, чем мы можем тебе помочь, если и сами не знаем, куда бежать, что искать и от кого прятаться? Все мы бежим в разные стороны: и я, и ты, и Антонина Сергеевна, вспотевшая от безмерной государственной ответственности, и дядя Женя, уже далекий, южный, почти потусторонний, уже удобно потопывающий ногой в новенькой экономной сандалии, чтобы отправиться на свою последнюю прогулку, с которой он не вернется; и кавалер-девица Ольга Христофоровна, хотевшая как лучше, но сбитая влет хотевшими как еще лучше коллегами, – вот всходит луна и мучает Ольгу Христофоровну забытыми снами, забытыми полями, изрытыми копытами конницы, свистом призрачных сабель, дымом беззвучных ружейных выстрелов, запахом каши из коллективных котлов, запахом овчины, крови, юности и неполученных поцелуев. Оглянись вокруг, прислушайся, а не то раскрой книги: все бегут, бегут, – прочь от себя или на поиски себя самого: бесконечно бежит Одиссей, кружа и топчась в мелком блюдце Средиземного моря; три сестры бегут в Москву, неподвижно и вечно, как в кошмаре, перебирая шестью ногами и не двигаясь с места, бежит доктор Айболит, тоже, вроде тебя, размечтавшийся о каких-то заморских больных зверях – "и вперед побежал Айболит, и одно только слово твердит: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!" Москва, Лимпопо, город Р. или остров Итака – не все ли одно?

Но ничего этого я не сказала, потому что тут звякнула калитка, и из затуманенных росою кустов боярышника вышел, белея вышитой рубашкой, Василий Парамонович, любитель воздушных путей, а с ним об руку — Перхушков, районный идеологический дракон.

— Ктой-то? — весело и тревожно гукнул Василий Парамонович из сумерек. — А я вот согласовывать иду, да планы новые несу, да и слышу: хулиганит кто-то с музыкой. А это никак братец к Антонине Сергеевне пожаловали? А милости просим! До дома, до хаты!

— Что это? — встрепенулся и Перхушков, чуя во тьме темноту Джуди. — Неужели иностранные товарищи прибыли? Бронь-то с двадцатого!

И вернул нас в дом, где помидорки с коньяком и видом своим, и действием возрождали глухие исторические воспоминания о Бородинской битве.

— К утру ждем эскадрилью, — сказал Василий Парамонович. — Эх, и торжественно будет!

— А где ж она сядет? — удивилась Антонина Сергеевна.

— А нигде не сядет: у них допуска нет, — отвечал Василий Парамонович, покосившись на Перхушкова, и Перхушков кивнул. — Они кружиться будут и фигуры изображать. Завтра отрепетируют, а уж когда товарищи побратимы подойдут, тут они всю красоту и покажут.

— А нельзя ли с истребителей красные гвоздики сбрасывать? Бумажные? — спросила Антонина Сергеевна.

— На бумагу лимиты мы вон когда еще выбрали — в июне! Эк ты, Антонина, хватила — бумагу!

— А если частный сектор подключить, что для кладбища цветы вяжет?

— Ни в коем случае! Они же вяжут розы, не гвоздики, а розы аполитичны, — вмешался Перхушков. — Надо же понимать разницу. Вообще кладбище — это большая наша боль и тревога, — взгрустнул Перхушков, — запущенный, признаться, участок идеологической работы, — какой-то не свойственный нашему обществу дух уныния, угнетенности, причем с оттенком мистицизма: кресты, склепы, а кое-кто даже позволяет себе пессимистические надписи или сооружает цементных ангелочков, каковые суть незамаскированные подрывники материализма и эмпириокритицизма. И подумать только, что на камнях и

надгробиях высекают — совершенно безответственно — не только дату рождения, но и дату так называемой смерти, причем ни та, ни другая зачастую не согласовывается с компетентными организациями. Это — прямой космополитизм. Вот почему сейчас задуман почин вносить строгое замечание — строгое! — в учетные карточки усопших товарищей, если на их могилах будут зафиксированы мистические фигуры и несогласованные цифры — ведь не можем же мы допустить, чтобы три источника и три составных запчасти учения засорялись и разбазаривались привнесенными извне херувимчиками. А взять другие узкие места! Да что далекс ходить, — вон, два квартала отсюда, интернат для престарелых, ведь что делается, если копнуть! Гайдуков, Андрей Борисович — заслуженный работник, медали от проймы до проймы, к прошлым ноябрьским аж китель клиньями надставляли; трижды лауреат Голубого Меча, — совершенно забывается, под кроватью зайчиков ловит, позорит органы! Бойко Раиса Николаевна — уж, кажется, все условия созданы; на политсеминары ее на каталке привозят, камфара — пожалуйста, капельница — на здоровье, кислородная подушечка — милости просим, все под рукой! Так ведь Ясперса с Кьеркегором путает, не может семнадцать причин постепенного перерастания перечислить и настаивает, что апрельские тезисы были прибиты Мартином Лютером Кингом к берлинской стене! Что это? А Иванова Суламифь Семеновна? Добро бы из бывших, так нет, интеллигент в первом поколении, кандидат наук и все что полагается, и даже изобрела в свое время какой-то там сироп для успокоения нервов, очень популярный в конце тридцатых годов, так что сам Михаил Иванович Калинин ее поздравлял, прикалывал ей к груди медальку, обнимал и целовал, пожимал руки, ноги, шею, все, — очень горячо приветствовал! — так вот эта Суламифь впала в такой жестокий склероз, — а скорее всего не склероз это, а диверсия, — что воображает себя юной капризницей, причем самого дурного тона: подайте ей, значит, какие-то букеты сирени, она будет в них валяться, и пусть, дескать, эльфы с опахалами навеют на нее, к примеру, зефиры или там, страшно вымолвить, сирокко, — и это наша-то, советская старуха допускает такой политический просчет! Ну какое, друзья, по чести, может быть в нашей стране сирокко?

Перхушков заплакал, крутя головой, и Светлана, влекомая к мужским выделениям, будь то хоть слезы, — подобно

змее, влекомой к теплу, – приникла к ослабевшему комиссару и принялась вытирать все сорок его очей светлыми своими локонами, для крепости вымоченными накануне в сахарном сиропе и накрученными на газету "Красная звезда".

И вообще, говорил Перхушков, давясь тоскою, как страшно и трудно жить на свете, друзья! Какие драмы, коллизии, ураганы, бури, смерчи, циклоны, антициклоны, тайфуны, цунами, мистрали, баргузины, хамсины и бореи, не говоря уж о лон-жень-фынах, случаются на каждом шагу в духовной нашей жизни! О! Вот буквально только что этим летом, да что там, в августе, вот в этом самом августе Перхушков пережил драму, описать которую не возьмется ничье перо – еще не ослеп такой Гомер, чтобы поднять эту тему. Ад, – горько рассказывал Перхушков, – это просто вечеринка с девушками, это, не сказать худого слова, ЦПКиО им. Горького на фоне того, что с ним было! Да этот всемирный дурачок Данте, якобы шаставший со своим дружком Вергилькой по адским кругам, случись ему пережить такое, просто удавился бы на месте, не стал бы зря мучиться! С первое по четырнадцатое августа – траурные дни, недели плача, – Перхушков пережил разлуку с родиной. Да. В Италию. Да. Туда – самолетом, а назад – чтобы умножить муки – поездом. И вот – ранняя седина (Перхушков отодвинул Светлану и показал седину) и горькие, испещрившие буквально все лицо, уши и даже затылок, морщины.

Как описать – ведь Перхушков не Гомер, не Лопе де Вега и даже не поэты Плеяды – это одиночество, эту разбитость, эту глубокую, безысходную депрессию? А этот гнет, как бы разлитый в воздухе? В Италии всегда серое, серое небо, описывал Перхушков, – низкие свинцовые тучи сгустились над плоскими крышами и так тяжело давят, давят. Вой ветра едва оживляет пустые и жалкие улочки. Пройдет, сгорбившись, старуха, проползет нищий, помахивая окровавленной культей, обернутой в грязную тряпицу, и вновь – тишина. Редкие снежинки, медленно кружась, падают в ужасающей духоте. Густой промышленный дым черными клубами застилает кривые переулки городов, так что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, да и смотреть там не на что. Итальянцы – угрюмый, мрачный народ, сгорбленный от многовекового непосильного труда, с впалой чахоточной грудью и постоянным кровохарканьем, так что все улицы покрыты кровавыми туберку-

лезными плевками. Редко, редко слабая улыбка освещает бледное, испитое лицо итальянца, обнажая бескровные десны, лишенные зубов — и то, лишь если встретит нашего, советского, — тогда тянет итальянец свои худые руки в обрывках лохмотьев и тихо хрипит: "товарищ! Кремль!" — и вновь бессильно роняет ослабевшие конечности.

Посреди Италии возвышается угрюмая черная крепость — Ватикан. Страшные зловонные рвы окружают крепость с четырех сторон, и лишь скрипучий подъемный мост раз в год опускается на ржавых цепях, чтобы впустить грузовики с золотом. Воронье кружит над Ватиканом, зловеще каркая, а выше носятся вертолеты, а еще выше — Першинги. Изредка из-за стен крепости раздается хриплый смех — это смеется папа римский, мрачный старик, которого никто никогда не видел. Уж он-то сыт и богат, у него свои стада и поля, так что ест он каждый день и колбасу, и сало, и пельмени, а по праздникам — пиццу. В подвале Ватикана — гарем, там томятся сотни прекрасных девушек, среди которых есть и наши, советские, променявшие родные просторы на чечевичную похлебку. Да просчитались — чечевицу им дают раз в год, на Восьмое Марта, а так — одну баланду. Да и парашу не каждое утро выносят.

Стража Ватикана ужасающа — кто ни приблизится, стреляют без предупреждения. Шаг влево, шаг вправо тоже считается попыткой покушения на папу римского. Вот почему никто с ним ничего поделать не может. Хорошо тренированные овчарки и колючая проволока под током довершают гнетущее впечатление.

Крысы в Италии шныряют так густо, что автомобили практически не могут проехать. Да и у кого есть деньги на автомобили? — горько вскричал Перхушков. — Разве у толстосумов и богатеев! Эти-то катаются как пармезан в масле, день и ночь попивая вино в пышных дворцах и соборах и громко смеясь над простыми итальянцами, а те лишь бессильно сжимают исхудавшие кулаки. Полки магазинов пусты, и часто, а вернее, постоянно, можно видеть, как маленькие дети, все, кстати, как один на костылях, — дерутся у помойных бачков из-за куска хлеба.

— Кто же выбрасывает хлеб, если в магазинах ничего нет? — встрепенулась в ужасе Антонина Сергеевна.

— Мафия, — строго сказал Перхушков. — Хлеб выбрасывает мафия.

— Бож-же...

— Да. И вот я вам это смело говорю, потому что нам с вами бояться нечего, но за разоблачение этой ее тайны мафия убила всех комиссаров полиции, всех прокуроров республики, всех карабинеров и теперь держит в непрекращающемся страхе членов их семей — вплоть до двоюродных бабушек. А сама живет в пышных дворцах и соборах и громко смеется.

Перхушков был настолько расстроен видом пышных дворцов и соборов, с отвращением возведенных простыми средневековыми угнетенными, что не мог даже смотреть на эти омерзительные постройки, еле видные сквозь дым, и закрывал глаза руками, вся наша делегация тоже ходила, крепко зажмурившись. Совсем другое, светлое чувство охватывало его при взгляде на покосившиеся лачуги простого итальянского люда; и уж по-особому тепло, с умилением провожал он глазами простых безработных и простых угнетенных, ползущих мимо на костылях, а одного он даже догнал и дал ему рубль с профилем Ломоносова. Если же встречал кого побогаче — в гневе стискивал кулаки и скрежетал зубами, а меж бровей у него немедленно залегала суровая складка, окончательно разгладившаяся лишь на обратном пути, в Чопе, при смене колес. С самого начала Перхушкова мучила тоска по родине. Еще при оформлении документов он начал тосковать и не находить себе места. Более того! Едва слово "Италия" было произнесено в первый раз, как Перхушкова пронзила такая нестерпимая тоска, что он как птеродактиль вылетел во двор и мертвой хваткой обхватил березку, посаженную на недавнем субботнике, так что пришлось его отдирать вместе с листочками и корой — перед разлукой Перхушков хотел хотя бы насосаться березового сока. И сидя в самолете, он тосковал: жадно прильнул к иллюминатору и следил распухшими глазами, как убегает назад родная земля. Когда же самолет пересек границу, Перхушкова обожгло как раскаленным прутом, ударило, подбросило, он сорвался с кресла, расшвыривая сахар и соль в пакетиках, пластмассовый стаканчик с минеральной водой, котлетку в томате — таком родном! — и кинулся, рыдая, к запасному выходу, откручивать засовы, так что его с трудом удержали две стюардессы, бортмеханик и второй пилот, тоже распухшие от слез и тоски по гречневым просторам. Такие же приступы ностальгии, все учащаясь, настигали его и в Италии, так что ночами он метался и кусал стиснутые, побелевшие кулаки,

а днем сидел в своем номере на койке с потухшим взглядом, опустив голову и свесив плетьми руки, беспрестанно бормоча: "Родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина". Товарищи звали его в покосившиеся театры, пить неприятное вино, кататься в дырявой гондоле – куда там. Так что понятно, что встретив соотечественника – нашего, тверского – Перхушков бросился к нему и так крепко стиснул, что задушил в объятиях, в связи с чем были даже небольшие неприятности с трупом, пришлось писать объяснительную записку в учреждение, командировавшее покойника в капстрану, и немножко хлопотать о пенсии вдове и сиротам, но это неважно, важно нестерпимое патриотическое чувство, охватившее Перхушкова при возвращении: чувство гордости за родину, за ее небеса и другие аналогичные просторы, за ее величественные свершения, широкий шаг, уверенную поступь и высокие надои.

– Родина, – закричал взволнованный Перхушков, – да что же может быть дороже родины в свете последних постановлений? Ничего! И ведь сколь мудры эти золотые Последние Постановления с их пронзительным светом, как вовремя и в то же время неожиданно они случаются, каким глубоким ожогом прожигают нам душу, аки меч блистающий, обоюдоострый, взаимоволнистый, несказанным сиянием исполненный, несокрушимый, неразъемный, непобедимый паки и паки! И то – как жили бы мы без Постановлений, мы, жалкие, белые, нагие, слепые и дрожащие, подобные червям и безногим водяным личинкам? О, уподобить ли нас тлям прозрачным, в дремучем невежестве и животном безверии зеленый лист грызущим; о, уподобить ли нас инсектам простейшим, в капле колодезной воды без понятия толкущимся? О, сравнить ли нас с амебами неразличимыми, жаждущими и страшащимися разделения в самих себе, – и попусту, греховно жаждущими, ибо ничто, разделившееся в себе, не устоит; о как темно, пусто и страшно нам без Постановлений, как робко ползаем мы, пугаясь шорохов и скрипов, меж каменистых пустынных отрогов, как жалобно скулим, протягивая руки, щупальца, членики, жвальца, хватальца и осязательные волоски во тьму кромешную, откуда лишь хлад и рык зловонный: просвети! о, просвети!.. И как тускло, словно подернутые туманом и ржавчиной, светят нам

остывшие, отгоревшие, *прежние* Последние Постановления, утратившие свою актуальность и злободневность, как дева — цвет юности, как розан — весеннюю пыльцу...

Но се — бьет час, и не предугадать его, гремит глас — и кто посмеет предчувствовать его? — разверзаются небеса и раздираются покровы, и Зверь стоочитый, число коего есть двенадцать, как бы весь в пурпуре и багрянце, и в грохоте нестерпимом являет себя, вращая ногами;

— и митра его есть папаха драгоценного каракуля, и одежды его суть драп цвета вечерних туманов;

— перси и чресла его суть рубин и золото чистое, беспримесное, плащаница его двубортна, и число застежек равно числу песка морского;

— в головах его звезда Сарынь, в ногах — мертвец; препоясан он зубцами невыразимыми;

— и, подъяв трубу, трижды восклицает он голосом, подобным шуму вод: "есть, есть, есть Последние Постановления!"

И с силой несравненной, с шумом таковым же разворачивает Зверь список Последних Постановлений, и свет их, соотечественники, — свет их подобен взрыву тысячи солнц, и, завидя его, всякий мрак, скверна и нечистоты бегут, скрываясь с лица земли, изрыгая бессильную хулу.

— Вот опишите это, друг мой, юный поэт, — просил Перхушков Ленечку, — опишите как гражданин, как солдат, как рядовой. И пусть книга сия будет во рту нашем сладка как мед, в чреве же нашем горька как корень полыни каракумской, как мумие памирских пещер, как соль озер Эльтон и Баскунчак, действие же ее да будет очищающим подобно действию соли карлсбадской.

Перхушков отодрал от себя Светлану, встал и одернул гимнастерку, тельняшку, китель, пиджак, бурку, кожанку, плащаницу и черную мантию на лазоревой подкладке, — все одернул, что на нем было или же только мерещилось.

— А насчет родины, — сказал он с порога, пронзая испуганную Джуди сорока очами, — я разъяснил. Кто может вместить, да вместит. Кто не может — мы сами вместим куда следует. — И, прикрыв часть очей, сверкнул шпорами и вышел.

— Да, — вздохнула Антонина Сергеевна, — что ж, дома-то, конечно, лучше, кто спорит. В этом году и масло в магазинах было, а в заказах — так по три пятьдесят постоянно есть.

— Дрожжи были, — подтвердил Василий Парамонович.

— Были дрожжи. Мука всегда. Я не знаю, что еще надо. Ветеранам изюм. И живи себе, и никакой Италии не нужно.

— Что ж, он не по своей воле ездит, — заметил Василий Парамонович. — Служба такая. А насчет описать сюжет — это он верно. Это хорошо. Вы, молодой человек, пишете, а вы вот меня послушайте, — рекомендовал он Ленечке. — Я вот тоже даю вам сюжет. Вот, скажем, товарищ некий. Простой, русский. Фронтовик, между прочим. Два ранения, причем одно не так, чтобы тяжкое, ну, допустим, в мягкие ткани, скажем так. А второе похуже. Да. Второе посерьезней будет. Ну, не в этом, конечно, дело, это уж на ваш полет фантазии. Вот приходит с фронта, сразу на завод вальцовщиком, тут девчата, конечно, симпатичные, одна такая... бойкая... ну, это тоже на ваш полет. Не в этом дело. Ну, годы идут. Выдвигают его на руководящую работу. А годы идут. Он на руководящей, худого слова не скажу. Но! Вот понимаете в чем сюжет, ну не продвигают его выше-то, ну ни в какую. Вот он с Кузнецовым мыло варит, с Агафоновым мыло варит, — это я к примеру, — ну мертвое дело. Вот как словно бы за гвоздь штанами зацепился, по-простому говоря. Что ж такое, думает. Что такое. Да... Вот вам сюжет. Жизненный. А то пишут: пташки-комары. Поцелуи. Все не по делу. А вы, как будете в Москве, опубликуйте, — вот это, что я вам сказал. Кто понимает — приужахнется, точно вам говорю. Волнения даже могут быть. Войска, может, подтягивать придется. Так что вы эдак легонько, без нажима. На тормозах. Лады?

Накануне прибытия тулумбасов Ольга Христофоровна проскакала через город Р. на колхозном коне с черным знаменем в правой руке и с ультиматумом в левой. Она требовала отмены денег, пайков, талонов, требовала закрытия столов заказов, отмены экзаменов в школах и вузах, объявляла свободу лошадям, собакам и попугаям, буде таковые случатся в в личном пользовании жителей города Р.; она требовала уничтожения заборов, замков, ключей, занавесок, ковров, простыней, наволочек с прошвами и без прошв, подушек, перин, домашних тапочек, нижнего белья, носовых платков, бус, серег, колец, брошек и кулонов, скатертей, вилок, ложек, чайной и кофейной посуды, — за вычетом граненых стаканов, — галстуков, шляп, дамских сумок, изделий из шерсти, шелка, синте-

тики, вискозы и полихлорвинила. Ольга Христофоровна разрешала оставить в личном пользовании жителей города Р. не более одного стола, двух табуреток, ведра цинкового одного, кружек жестяных с ручками (трех), ножей складных (двух), примуса с ежемесячной регистрацией одного, и полутора кубометра дров на семью; одеял — одно per capita, папирос и зажигалок — ad libitum.

А кроме того, Ольга Христофоровна объявляла, что природа отныне переименовывается ею раз и навсегда, в мировом масштабе, и отныне городу Р., а также всему миру даруются осенние дожди имени Августа Бебеля, туманные рассветы имени Веры Слуцкой, облака Ногина, зори Урицкого и краснознаменные метели имени пробуждающихся женщин Закавказья.

И в заключение Ольга Христофоровна удостоверяла, что ее учение верно, потому что оно правильно.

Так что в связи с опасным поведением Ольги Христофоровны на подмогу была вызвана близлежащая военная часть, тем более необходимая, объяснил Василий Парамонович, что и без того только и жди эксцессов со стороны населения: бывают ведь случаи, когда горячие головы из местных прорываются к побратимам и требуют передать в ООН ту или иную заведомую клевету: будто бы пшено заражено жучком, или же рыбу продают рогатую, и, стало быть, якобы облученную, меж тем как если ей и случается бывать рогатой, то совсем по иным, частным, известным только ей самой причинам, или же в маргарине попадаются мужские носки и трудно намазывать на хлеб, что неверно. Мажется прекрасно.

С юга подступали тулумбасы, с севера — неограниченный контингент войск, в зените зависли дирижабли, украшенные усатыми колосьями и кратким сопровождающим текстом: "Ой, рожь, рожь!" — все остальное было вымарано цензурой; а между югом, севером и зенитом скакала Ольга Христофоровна, как дух отмщенья, и подземные каверны, гудя освобождающимся кипятком, гулко отзывались на удары конских копыт.

В ожидании встречи с побратимами руководящие товарищи взошли на холм, и Антонина Сергеевна потребовала, чтобы мы как столичные гости и отчасти родственники тоже постояли на холме с рушниками и хлебом-солью на вытянутых руках. Василий Парамонович надел свой самый плотный костюм и электронные часы, Ахмед Хасянович трижды побрил-

ся и теперь с тревогой ощупывал быстро синеющую, рвущуюся вновь прорасти щетину, Антонина Сергеевна выглядела так, словно недавно умерла и теперь нарядно, за большие деньги, мумифицирована; холодный ветер раздувал ее кудри, где мелькали забытые впопыхах, неотстегнутые бигуди; Перхушков тоже был где-то тут: притворялся валуном, обросшим поздними, заиндевевшими подорожниками, а может быть, вон той корягой. Рябина пылала, обещая скорую метельную зиму, и далеко, насколько хватает глаз, видны были далекие леса в осенней дымке, желтые уже и бурые.

И серый свод неба над нами, где выла, проносясь, не имеющая где присесть, эскадрилья, и далекие бурые леса, и холм посреди глобуса, где мы топтались на ветру, выдувающим соль из резных солонок, и подмерзшая земля, дрожащая под копытами вороного, восставшего, невидимого отсюда коня — все это была в тот миг наша жизнь, наша единственная, цельная, полная и замкнутая, реальная, ощутимая жизнь — вот такая и никакая другая. И выход из нее был только один.

— Нет, это не жизнь, — вдруг громко сказала Джуди, прочтя мои мысли, и все в недоумении оглянулись. Нет, она была неправа. Это жизнь, жизнь. Это она. Ибо жизнь, как нас учили, есть форма существования белковых молекул, а что сверх того — то суть пустые претензии, узоры на воде, вышивание дымом. Стоит принять этот мудрый взгляд — и сердцу будет не так больно, "а больно — так разве чуть-чуть", как писал поэт. Вот только поменьше бы мечтать, ведь жизнь жестока к мечтателям. Ну чем провинилась я? Впрочем, не обо мне речь. Чем провинилась Джуди, простудившаяся на холме города Р. и через две недели умершая от воспаления легких, так и не родив нам Пушкина, так и не встретив ни одного больного животного, так и пропав ни за грош? Да, она, сказать по правде, померла, как собака — в чужой стране, среди чужих людей, которым она — чего уж там — была только обузой; вспомнишь о ней иногда и думаешь: кто такая была? чего хотела и как ее в конце концов звали? И что думала она об этих странных людях, окружавших ее, прятавших, кричавших, пугавшихся и вравших, — белых, как личинки жуков, как опарыши, как сырое тесто людях, то быстро-быстро принимавшихся что-то говорить, махая руками, то стоявших у окна в слезах, как будто это именно они заблудились в жизненной чаще? А тот же дядя Женя

— чем провинился он, растерзанный на основные белковые молекулы в чужом краю, у водопада, — палка в руке, недоеденный банан во рту, боль и недоумение в выпуклых дипломатических глазах? И право же, я, чувствуя в нем своего романтического собрата, не осужу его, как не осужу ни Ольгу Христофоровну с ее еженощными снами, где сабли, и дым, и кони яблочной масти, ни Василия Парамоновича, рожденного ползать, но взахлеб летавшего, как дитя, при любой возможности, ни Светлану, простую московскую девушку с аппетитами падишаха.

Тут дрогнул куст боярышника, и невидимый Перхушков, откашлявшись, заговорил из куста:

— О черт. Mea culpa. Зашибесся с вами. Ведь не предусмотрели возможные валютные операции!

— Какие валютные операции? — ужаснулся Ахмед Хасянович, озираясь безумными и прекрасными козьими глазами. Светлана взглянула на Ахмеда Хасяновича, полюбила его до гроба и прильнула к его груди.

— Какие-какие, — закричало из куста, — запрещенные, вот какие! Вы соображаете, что нас ждет? Высоко сижу, далеко гляжу, не смыкаю очей; вижу, вижу: идут товарищи побратимы деревнями и селами, несут товарищи побратимы тулумбасскую валюту; блеск ее нестерпим, число ее не учтено; скупают по деревням и селам молоко и капусту, галоши и карамель, подрывают допустимое, нарушают разрешенное. Сейчас вступят товарищи тулумбасы в город Р., вверенный попечению моему: рухнут столбы и затрещит кровля, зашатаются стены и разверзнется земля, черным дымом задымятся сберкассы и небесный огонь пожрет жилконторы и отделы государственного страхования, если хоть мельчайшая валютная единица коснется десницы хоть ничтожнейшего из наших соотечественников. Страх, петля и яма! — крикнул куст.

И, словно отвечая его речам, внизу, под холмом, пропела труба: то Ольга Христофоровна объявляла сбор всех частей, которых, впрочем, не было.

— От незадача... — прошептал Василий Парамонович. — А может, и обойдется? Из центра вроде сообщали: ихняя валюта — ракушки на бечевках. Махонькие такие, желтые в крапинку. На детский срам похожие. Было указание.

— Может, и обойдется, — успокоился куст. — А ответственность все равно на Ахмеде Хасяновиче.

– Идут! – крикнул Ахмед Хасянович.

Тулумбасы шли и шли нескончаемым потоком, ломая кусты и подминая деревья.

– Тыщ пять, – прикинул Василий Парамонович и выразился по-фронтовому некрасиво.

– Ну чисто татары, – пригорюнилась Антонина Сергеевна совсем по-старинному, на что Ахмед Хасянович отвечал: "однако я вас попрошу!"

– Отчего они вооружены? – закричал зоркий Перхушков. – Сейчас кое-кого испепелю с занесением в учетную карточку!

– Вот так он всегда, – покрутила головой Антонина Сергеевна. – Стращает, а в сущности, добрая душа. Живность тоже любит. У него дома и цыплятки, и утятки, и индюшатки. Всех и в лицо знает, и по именам. Сам их кормит, сам и кушает. И всегда ведь запишет, кого съел: Пеструшку, или Кокошу, или Белохвостика, и фото в альбом наклеит. Как с детьми, честное слово.

Солнце прорвало тучи и блеснуло на ружейных стволах подступавшей толпы.

– Да ведь это наши! Солдатики! – засмеялся радостно Василий Парамонович. – Вовремя поспели! Хлебу-соли отбой! Это же наши идут! Вон и танки показались! Господи, радость-то какая!

И точно, это были наши. Двигались стройно, красиво, оставляя за собой ровную, как шоссе, просеку. Двигались пешком, и на мотоциклах, и на газиках, и на танках, и на "Волгах", черных и молочных, и на одном "Мерседесе", закамуфлированном под избушку путевого обходчика.

Избушка повернулась к лесу задом, к нам передом, и из лакированной двери, сияя нестерпимой мужской красотой, вышел полковник Змеев.

Светлана, увидев его, даже закричала.

– Хей-хо! – по-иностранному приветствовал наше начальство полковник Змеев. – Здравия желаю. Сколько прекрасных разноцветных женщин и нарядных гражданских лиц! Как чудно светит солнце и бодрит морозный ветерок! Как символичны щедрые дары нашей богатой земли: хлеб, а также соль. Но и мы не курами клеваны: позвольте отблагодарить вас за внимание и гостеприимство и преподнести вам скромные дары, сработанные или реквизированные нашими ведомственными

умельцами в часы редкого досуга. Амангельдыев! Подай скромные дары.

Амангельдыев, солдат небольшого роста, выражавший на лице постоянную готовность либо к испугу, либо к немедленному физическому наслаждению, подал ящик со скромными дарами и расстелил на жухлой траве скатерть с кистями, которая как-то сразу и густо покрылась бутылками с коньяком и холодными рыбными закусками.

— Ну, с прибытием! — чокнулся с гостями Василий Парамонович. — Слава богу. Вовремя поспели. Мы уж волновались. Вон авиация-то: не подвела, с утра шастает. Шестой океан! Понимать надо!

— Голубой простор, — согласился Ахмед Хасянович, ревниво поглядывая на полковника, трижды обвитого Светланой. — Небесные орлы.

— Туда, где танк не проползет, туда домчит стальная птица, — радовался Василий Парамонович.

— Не совсем так, — улыбнулся полковник Змеев. — Мы сейчас с помощью современной техники проползем туда, куда нашим дедам и не снилось. Устарела песенка.

— Огурчиков! Огурчиков берите! Наваливайтесь! — суетилась Антонина Сергеевна, угощая гостей их же добром.

— Вечно женственное, — одобрил Змеев суету Антонины Сергеевны и еще крепче был стиснут Светланой.

Ленечка поглядывал на Амангельдыева, который, как представитель нацменьшинства и к тому же простой, подчиненный человек, сразу стал ему необычайно дорог.

Закусив, полковник одарил присутствующих. Ленечке вручили отрез зеленой сирийской парчи размером два сорок на семьдесят, который Ленечка тут же передарил Амангельдыеву на портянки (что вызвало, подобно крику в горах, лавину событий: благодарные родственники Амангельдыева два года ежемесячно посылали Ленечкиной семье урюк, точильные камни, ложное мумие и синий изюм, а так как Ленечка к тому времени уже исчез, то его ошарашенная семья, задыхаясь под камнепадом подарков и не понимая, чем она обязана неведомым дарителям, тщетно пыталась остановить не имеющее обратного адреса изобилие. Затем нагрянуло трое двоюродных братьев Амангельдыевых, желавших снять квартиру, продать дыни, купить ковры и поступить в институт на прокурора; встреченные,

по их ощущению, неласково, они подожгли кооперативный гараж, разнесли в клочья детскую песочницу и согнули в дугу молодые, недавно высаженные пионерами липки; взяли их, недооценивших оперативность и старые связи тети Зины, в кафе "Охотничье", в момент, когда они выменивали чемодан бирюзы на сертификаты с желтой полосой у некоего Гохта, за которым милиция давно охотилась, но это все между прочим). Джуди получила вяленого омуля, Светлана – авторучку на гранитном постаменте, а я – календарь памятных дат Вооруженных Сил Варшавского Договора.

Тут из города вновь раздался глас трубы и затем крик Ольги Христофоровны в громкоговоритель:

– Всем сложить оружие! Считаю до трех миллионов восьмиста шестидесяти четырех тысяч восьмисот восьмидесяти одного! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь!..

– Время есть, – сказал Змеев. – Еще по рюмке – и стреляем.

– Застрелите ее, родные, она песни поет, – пожаловался Василий Парамонович.

Действительно, там, далеко внизу, Ольга Христофоровна, досчитав до девяноста девяти, прервала счет и запела:

– Как дело измены, как совесть тира-а-а-на
Осенняя ночка! Темна!
Темнее той ночи встает из тума-а-ана
Видением мрачным! тюрьма!

– Это ничего, это она про Ватикан, – прислушался Перхушков. – Это можно.

– Не надо стрелять, ее просто поймать нужно, – пожалела и Антонина Сергеевна. – Она неплохая.

– Как же не стрелять, когда она вон – как на ладони, – поразился Змеев. – Амангельдыев, подай ружье.

Полковник вскинул ружье и выстрелил. Ольга Христофоровна упала с коня.

– Вот и не поет, – пояснил полковник. – Давайте еще выпьем. Огурчики хороши.

– Ну что же вы делаете? – закричал Ленечка. – Что же вы в людей стреляете?

Но его никто не слушал.

– Стрелять – это красиво. Это волнует, – рассказывал Змеев разгоряченным товарищам. – Ведь что мы в жизни ценим, – из удовольствий, я имею в виду? Мы ценим в огурце – хруст, в поцелуе – чмок, а в выстреле – громкий, ясный бабах. Сейчас лесами сюда шли, вдруг откуда ни возьмись – негров куча. Вот вроде этой гражданочки, – показал он на Джуди. – Все белой краской раскрашены, в носу перья, в ушах перья, даже, простите, при дамах не скажу где, так там тоже перья. Отличная боевая цель, игрушечка. Очень хорошо постреляли.

– Кто-нибудь живой остался? – спросил Ахмед Хасянович.

– Никак нет, гарантирую, – никого. Все чисто.

– Ну и ладно. Убираем дирижабли. Отбой, – вздохнул Ахмед Хасянович.

– Пусть повисят! – закричал захмелевший Василий Парамонович. – Ведь красота-то какая, а? Как все равно голуби серебряные. Помню, мальчонкой я голубей гонял. Рукой взмахнешь, а они – фрррр! – и полетели! И так трепещут, трепещут, трепещут! Эх!

– Ну, по последней – и на машине кататься, – предложил полковник. – Как, молодежь? Грибов поищем!

– Едем, едем, – просила Светлана, любуясь полковником. – Хочу грибов, грибов!

– Амангельдыев, па-а-а гри-бббы!!!

Трудно было сказать в хмелю и суматохе, кто куда сел, лег, встал и кто на ком повис, но мы, сплетясь в живой клубок, уже неслись в "мерседесе" по кочкам и корням, и сосны проносились мимо, сливаясь в плотный забор, и лесная малина хлестала по стеклам, и пищала Джуди, отпихивая толстый живот заснувшего Василия Парамоновича, и блеяла Антонина Сергеевна, и Спиридонов, зажатый где-то под потолком, исполнял чей-то национальный гимн, и никто не делил нас на чистых и нечистых, и откуда-то взявшийся закат пылал, как зев больного скарлатиной, и рано было выпускать ворона из ковчега, ибо до твердой земли было далеко как никогда.

– Винтовочка ты моя! – щекотал полковник Светлану.

– Женат ли ты? – спрашивала Светлана своего прекрасного возлюбленного.

– Так точно, женат.

– Но это неважно, правда?

– Так точно, неважно.

– Грибов скорей хочу, – просила Светлана.

– Будут грибы. Я тебе такой мухомор покажу! – обещал полковник.

– Ой, пропадет девка! – ныл Спиридонов сквозь гимн, любуясь Светланой. И было на что посмотреть – да не по зубам инвалиду была Светлана, светящаяся от счастья – волосы ее сияли сами по себе, глаза стали лиловыми как у русалки, пудра облетела и краска отвалилась, и была она так хороша, что Спиридонов тихо матерился и клялся отдать за один ее взгляд полцарства – со всеми его полудворцами, полуконюшнями, полубочками с квасом, со всеми грибами, жемчугами, жестью и парчой, с тестом для куличей и тестом для пряников, изюмом, уздечками, шафраном, рогожей, серпами, боронами, мочалой и яхонтами, с индейскими курами, лазоревыми цветами и сафьяновыми полусапожками. Да только ничего этого у него не было.

Ковчег встал, и Светлана, рука об руку с полковником Змеевым, на цыпочках, пошла в лес.

– Наймусь в матросы – увезу тебя в Бомбей! – как дурак крикнул ей вслед Спиридонов. И сам покраснел.

– Были когда-то и мы рысаками, – вздохнул проснувшийся Василий Парамонович. – А ты чего здесь делаешь? – вдруг накинулся он на Джуди. – Чего она здесь делает?

– Я... зверей... зверей лечить... – лепетала Джуди.

– Зверей она лечить! Ты нас вылечи, ну-т-ка! – бушевал Василий Парамонович, неизвестно с чего вдруг озлобившийся. – Зверей и дурак вылечит! Я с Агафоновым мыло варил, с Кузнецовым мыло варил, я во как лез, сколько добра людям переделал – другого бы стошнило! Как цемент – к Василию Парамоновичу, как штукатурка – к Василию Парамоновичу, а как продвигать – так других! Это ж понимать надо, а не зверей! Ходят и ходят, ходят и ходят!

– Он добрый, очень добрый, – объясняла Антонина Сергеевна. – Это погода так действует, а он очень добрый. У него дома канареек десять штук, так он с утра им тюр-люр-лю сразу, а они уж знают, чирикают. Они добро чувствуют. Ну где ж наши-то?

Из лесу, одергивая китель, вышел полковник Змеев.

– Порядок. Поехали ужинать.

– А где Светлана?

– Убил нечаянно, – засмеялся полковник. – Обнимал-обнимал, ну и... раздавил немножко. Знаете, как бывает. Ничего, потом я команду подошлю, зароют. Там возни-то немного. Дело военное. Ну, поехали. Амангельдыев!

* * *

Странно теперь, по прошествии пятнадцати лет, думать о том, что никого из нас, тогдашних, уже не осталось – ни Светланы, умершей, хочется думать, от счастья; ни Джуди – теперь вот и могилки ее больше нет, а на том месте дорога; ни Ленечки, помутившегося в рассудке после Джудиной смерти и бежавшего в леса на четвереньках, – говорят, правда, что он жив и какие-то напуганные дети видели его у ручья лакающим воду, и какие-то инженеры, любители загадочного, организовали кружок по поимке "дикого среднерусского человека", как они его научно называют, и каждое лето с веревками, сетями и крючьями устраивают засады и раскладывают приманки – кексы, ватрушки, булочки с марципаном, – того не понимая, что Ленечка, человек возвышенный и поэтический, клюет только на духовное; нет Спиридонова, тихо скончавшегося естественной смертью в почтенном возрасте и изобретшего напоследок много-много интересного: и говорящий чайник, и автоматические тапочки, и портсигар с будильником, – никого больше нет, и не знаешь, жалеть ли об этом, сокрушаться ли, или благословить время, забравшее их, непригодившихся, ни на что не понадобившихся, обратно в свой густой непрозрачный поток.

Что ж, они хоть погрузились в него нетронутые, целиком, а вот дядю Женю собирали по клочкам, по фасциям, по астрагалам, волоскам и пучкам, причем один глаз так и не нашли, и в гробу он лежал с черной бархатной повязкой на лице словно Моше Даян или Нельсон, в новом полосатом костюме, взятом в долг у посольского повара, которому, кстати, все обещали, обещали, да так и не выплатили компенсацию, что и толкнуло его на подделку накладных на маринованные плоды гуайявы. А ведь известно: лиха беда – начало; повар увлекся, головка закружилась, и хотя он каждый день обещал себе перестать, но бес был сильнее, как-то сам собою образовался "Роллс-Ройс", потом второй, третий, четвертый, – потом, как водится, пошло увлечение искусством, и вот уже повар до тонкостей стал раз-

биpаться в течениях современного дорогостоящего авангарда, вот ему уже не нравится политика, не устраивает посол и кое-кто из посольских секретарей, — осторожно, повар! — дальше связь с местной мафией, рэкет и наркобизнес, тайный контроль над сетью банков и борделей, шашни с военными и планы обширного государственного переворота.

Так что к тому моменту, когда повар, разоблаченный, вновь обрел брусничные перелески и кучевые тучки родины, он успел до такой степени осложнить международную обстановку, так взвинтить цены на природные ресурсы и внести такую сумятицу в торговлю предметами искусства, что вряд ли что-то удастся поправить до конца текущего тысячелетия. Нефтяной бум — тоже его рук дело, говорил повар, навещая тетю Зину на майские и ноябрьские, уже совсем опустившийся, небритый, в ватнике; тетя Зина постилала на кухонный пол газету, чтобы с повара не натекло, пока он выпьет рюмку-другую ерофеича; денег за костюм с вас не прошу, — говорил повар, — вдовье ваше дело понимаю, — но прошу только уважения к заслугам, потому что нефтяной бум — это я; а гуайяву эту я в рот не брал отродясь, и нечего на меня всяких собак вешать, а только почет и уважение, а костюм не надо, а что у меня голова быстро варит, так это понимать надо, а не руки выкручивать, — в другом государстве я бы во как пригодился, сразу в президенты и все; сказали бы: Михаил Иваныч, иди к нам в президенты, и будет тебе почет и уважение, а костюм, барахло это, и не надо совсем, в гробу я видал костюмы ваши... А они у меня все вот где были, — говорил повар, показывая кулак, — вот где все сидели, а надо будет, — и еще посидят: и короли эти все, и президенты, и генералы-адмиралы, и шейхи всякие; у меня, если хочешь знать, уже Нородом Сианук на крючке был, я ему звоню по вертушке: ну как, Нородом, все чирикаешь? — Чирикаю, Михаил Иваныч! — Ну чирикай, чирикай... — А что, что такое, Михаил Иваныч?.. — Ничего, говорю, проверка слуха... Чирикай дальше, только не зарывайся... А то японский император звонит по вертушке: я тут, говорит, Михаил Иваныч, сырую рыбу есть сел, так без тебя никак, прилетай, составь компанию; ну вот, говорю, с приветом, а то я рыбы вашей не ел, — нет, говорит, хи-хи-хи, такой не ел, такую только я ем... а то: гуайява-гуайява, — ругался повар, теснимый тетей Зиной к двери, — а ты меня не трожь! Ты, говорю, за рукав-то меня не хва-

тай! – и, хапнув рубль, а когда и три, шумно вваливался в лифт, где его рвало звездчатым, недавно съеденным винегретом.

Тетя Зина, отплакав положенное и отходив нужное время в трауре, давно, конечно, успокоилась, и, поскольку человек слаб и тщеславен, нашла удовлетворение в том, чтобы числиться общественным консультантом по поимке дикого среднерусского человека, – она с гордостью подчеркивала, что он ей приходится близким родственником, и соседи завидовали и даже пытались строить козни, отрицая родство, но, конечно, были посрамлены. "Если бы Женя дожил, как бы он гордился", – повторяла тетя Зина, блестя глазами, как молодая.

Каждый год, осенью, в любую погоду я захожу за ней; она поправляет кружевной шарф на волосах, берет меня под руку, и мы идем – не спеша, помаленьку, – к Пушкину, чтобы положить цветы к подножию. "Вот еще б немножко поднатужились – и родился бы", – шепчет тетя Зина с любовью, засматривая снизу в его опущенное, слепое, позеленевшее лицо, до ушей загаженное голубями мира, в его печальный подбородок, навек примерзший к негреющему, занесенному московскими метелями, металлическому фуляру, словно ожидая, что он, расслышав ее сквозь холод и мрак нового своего, командорского обличья, поднимет голову, выпростает из-за пазухи руку и благословит всех чохом – ближних и дальних, ползающих и летающих, усопших и нерожденных, нежных и ороговевших, двустворчатых и головоногих, поющих в рощах и свернувшихся под корою, жужжащих в цветах и толкущихся в столбе света, пропавших среди пиров, в житейском море, и в мрачных пропастях земли.

– "И гордый внук славян и ныне дикий..." – торжественно шепчет тетя Зина. – Как там дальше-то?

– Не помню, – говорю я. – Пойдемте, тетя Зина, пока милиция нас не разогнала.

И правда, дальше я уже ни слова не помню.

●●●

Елена Ушакова

●●●

Сколько народу среди бела дня на Невском!
Все мысленно сказали начальству: "Шалишь – не уволишь!"
Люблю это чувство легкое, детское,
Хоть сбежала в поисках зубной пасты всего лишь.

Озираюсь по сторонам, вот незнакомое племя,
Уж привыкла, но не оторвать глаз все же
От юноши с серьгой в ухе, виски и темя
Выстрижены до голой розовой кожи.

А в парфюмерном магазине о воде туалетной читаю:
"Благородный, смелый, живой аромат "Континента"
Имеет истинно мужской характер" – не знаю,
Как это установили, с помощью какого эксперимента?

И дальше; "Необычно горьковато-пряная нота
(Так сказано: нота) сочетается с цветовой гаммой
Модных современных оттенков" – о, новое что-то
На галантерейном фронте экономической программы!

Хотим мы того или не хотим, но сползаем
В сторону Запада осмеянного, презренного; возможно ль?
Развитой социализм не так уж неприкасаем,
В детской резвости мы колеблем его треножник!

О, туалетная вода, о, буржуазное, человечное
Общество, приспособленное к интересам частным!
Может быть, наши мучения не вечны?
Жгучие уроки истории не напрасны?

•••

День мой, ау, куда завалился, куда задевался?
Что я сегодня сделала? Жизнь моя, где же твои следы?
Сновала по кабинетам, вы бы видели эти галсы,
Сжимая в руках рукописи, очки и бланков листы.

В дверях своей комнаты с воинственным автором столкнулась,
Возмущенно негодовал и был по-своему прав,
Другому, неповинному, не нашлась, не успела, не улыбнулась,
И он вздрогнул, как кролик, на которого посмотрел удав.

Зато терпеливо внимала чужой бесполезной жалобе,
Купила кефир и сдала в прачечную белье,
К вечеру, оказалось, качаюсь, будто матрос на палубе...
О, два рубля не вернула! — память, несчастье мое!

Пора опять в парикмахерскую и надо забежать в аптеку,
Боже мой, вдребезги день разбит, как сосуд
Бессмысленный, если его составить; под каватину Алеко,
Плывущую от соседей, осколки сердце сосут.

Мой день, мой драгоценный, еще теплое первое
Февраля, готовое ускользнуть, о, смерти страшней
Не зацепившаяся за смысл — напрасно напряжены нервы —
Эта жизнь проваливающаяся, умирание дней!

●

Д. Добродеев

ЖИД В СОЮЗЕ

Никакой банальности, никаких ухмылок!

Стройными рядами идут они к павильону шуток и смеха, а на груди у них красуются значки ВГТО. Что за выи, что за плечи! Таких я во Франции не видывал. Молодость мира пульсирует в этих жилах. Воистину прекрасна смесь. Физиологии, серьезности и прыти!

Жид прикорнул с блокнотом у дискобола. Ветер трепал ржавую прядку на его лысеющем черепе. Что было на уме немолодой уже лисы? По утрам тянуло его к оптимизму.

Сегодня — 15 мая 1936 года. Центральный Парк Культуры. Москва. Чудесный день! Раскатистый гогот ветеранов, заливистый хохот молодежи. Все собрались вокруг эстрады. Старик с седой бородкой имитирует сцены из старой жизни. Ему весело вторит молодежь. Атмосфера наиживейшая. Здесь — волейбол, там — шахматы, поодаль — домино. Мечут диски, гребут в лодках. Кто-то поет "Евгения Онегина" под аккордеон. И все это — с важностью, можно сказать, благопристойностью.

Сзади подкралась сопровождающая Белка Нкруманян:

— Товарищ Жид, пора обедать!

— Иду!

За обедом в "Метрополе" Жид заметно посуровел. Пополудни оживали в нем иные мысли. — Ты думаешь, Эжен, долго

протянется эта их гармония? — Не знаю. — Ты думаешь, у них когда-нибудь появится творец? — Социализм не дал пока творца в классическом представлении, — ответил Даби, намазывая икру на горячий калач, — Это факт. Но оно и понятно. Вся их энергия ушла на ломку старого мира. А тут еще — индустриализация. Но подожди еще немного, и ты увидишь новых Леонардо.

— Подожди, говоришь? — Жид задумался, машинально поглощая чахохбили. Свиблис налил ему коньяка. Вбежала вездесущая Белка: "Товарищи! После обеда не расходиться! Нас ждут в райкоме комсомола!"

Там уже набилось порядком народу.

— У нас в гостях, — начал секретарь Храпкович, — прогрессивный французский писатель товарищ Жид, французский писатель-коммунист товарищ Даби, английский сталевар товарищ Смит и американский публицист товарищ Шифрин. Какие вопросы будут к гостям?

— Товарищ Жид! — поднялся рыжеволосый комсомолец в бобочке. — Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я много раз задумывался, — сказал Жид, — почему в вас столько чистого и свежего начала? Тем более, что сам я — сын старого мира, раздираемый темными, противоречивыми силами. С юности била во мне гомосексуальная струя, что жестоко осуждалось буржуазной моралью. Я был смертельно болен и чудом выжил. В Алжире, в начале века, во мне созрел бунт, я отразил его в "Имморалисте". Свобода половых инстинктов, полное раскрепощение творческих и духовных сил — всем этим я переболел. Включая клептоманию. И вот теперь глядя на ваши неискушенные лица, мне хочется верить, что ваш Октябрь дал нам новые возможности, новую свободу, новую силу. Но смогут ли воспользоваться этой свободой комсомольцы?

— Не совсем вас понял, товарищ Жид! — раздался голос Храпковича. — Наверное, вы имеете в виду старое, буржуазное понятие свободы, так называемый злостный индивидуализм. Так зачем же нам такая свобода, царство разнузданных инстинктов и пороков? Нет, мы движемся в совсем иной плоскости: один за всех и все за одного — вот наш сознательный клич!

Зав. протоколом Свиблис надавил Белке на туфлю: "Те-

бе Антоныч шмазь сотворит за такой перевод! Переводчица переплюева!"

– Как решается у вас проблема секса? – поднял руку Жид.

– Да какой там секс? Скажите, ребята!

– Ты перегнул, Храпкович, – вмешался Свиблис, – пускай любят друг друга. Они за любовь, товарищ Жид!

– Молодым секс в ущерб, – засмеялся Храпкович, обнажив черные зубы. – Если некуда энергию девать, мы им зараз выход найдем. Вон сколько у нас строек пятилетки!

Он нажал на кнопку, занавес расступился, обнажив каменную карту во всю стену, увешанную гирляндами разноцветных лампочек. Храпкович прокашлялся:

– Камни! Малахит и яшма, изумруд и опал! Всеми цветами и оттенками радуги играют они, образуя симфонию дружбы, галерею природных богатств нашего Союза национальностей. Молодые не жалели сил, здоровья, энтузиазма! Стремились притащить по камню, была не была! И вот – карта светится, вибрирует, живет! Беломор и Вологда, Турксиб и Магнитка, Лена и Колыма! Где только не работают молодые, где только не применяют бешеную энергию свою! Так пусть любят друг друга, нехай рожают крепких и сытых дытят, будущих защитников огневых рубежей!

– Вопрос! – поднял руку Шифрин.

– Слушаю вас!

– Из скольких камней состоит эта карта?

– Их ровно 2.256, больших и малых, драгоценных и полудрагоценных... Еще вопросы? Ты, Федя?

– Я хочу спросить товарища Жида. Сознают ли люди во Франции, что у нас построено такое красивое метро?

– Товарищи! – зазвенел колокольчиком Свиблис. – Мы вынуждены прервать нашу беседу. Иностранных гостей хочет принять Николай Островский. Вы знаете, как дорога каждая минута угасающему сыну ленинского Комсомола.

В опустевшей комнате Храпкович треснул кулаком по столу: "Пиндюлей этому Жиду вломить мало!"

– Коля! Не местничай! – Свиблис положил ему руку на плечо. – Надо – вломят. И сурово вломят, за всю подлянку.

Островский смотрел в потолок невидящим взором. На тонком профиле его Жид уловил печать смерти.

– И давно он так?

– Давно, – сказал Островский. Уж много лет. Лишь железная воля позволяет Островскому жить и работать. А жить для него – диктовать. Он диктует. День и ночь. Родным и близким.

– Святой, – пометил Жид, – или невропат? Вопрос советской святости вырастает для меня в новом измерении. Что кроется за ней?

Этот вопрос он задал Островскому: "Вам трудно?"

– Не важно, как мне, – горячо задышал Островский, – Важно, как стране.

– Меня восхищает важе мужество, – сказал Жид. – Вы живете для других, не веря в загробный мир.

– Какой загробный? Человек живет один лишь раз.

– И что же делать?

– Ничего не делать. Вернее, все. Главное – прожить жизнь так, чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

– Это гениально. Что я могу для вас сделать?

– Поцелуйте меня.

Жид склонился к его палевому лбу, не в силах сдержать слезы. Токи особой силы исходили из призрачной кисти Островского.

– Спасибо!

В комнате стало тесно. Две делегации стремились к изголовью.

– Товарищи! К машинам! – крикнула Белка. – Товарищи Шифрин и Смит – эмка №ОП-42, товарищ Жид... где же товарищ Жид?

Но Жид уже несом был веселой толпой москвичей. Забытый азарт Алжира охватил его. ОН ощутил атмосферу дикого сука в Рамадан. Пришел в себя он в "Пассаже". Было тесно и темно. Но, проходив по рядам, Жид освоился с темнотой. Люди стояли спокойно, даже равнодушно. На высоком ящике сидел малыш и сосал баранку. Жид примостился рядом с ним, достал блокнот:

...Пронзив толпу, несом толпою, посетил я пассаж "Петровка". Товары ужасают! Хотел было захватить сувениры для друзей: пустая затея! Секция ткани: крепдешин неплох фактурой, но безвкусно выкрашен. И вообще, друзья мои, дерзкая

персидская поговорка, "Дамы для долга, ребята для чувства, а дыни для вкуса", здесь абсолютно не в ходу. Вино так себе, пиво тоже. Кой-какие копченые рыбы (в Ленинграде) хороши, но не выносят перевозки.

Жид задумался. Больная тема вновь засвербила в его мозгу:

...Ткани они наткут, допустим, и хлеб напекут, в конечном счете. Ну а дальше? Что ждет артиста в этой стране? Томительный вопрос, которым я задавался с 17 года, остается в силе. Что делать личности, коли невозможно бунтовать? Плыть по воле волн? Агония Островского – это гибель поколения слишком статичного, слишком простого. В будущее таким людям не заглянуть. А это будущее куда сложнее, чем мнилось забиякам на баррикадах. Порча, порча, господа... Сдается, им здесь скорее нужен Макиавелли или божественный де Сад. Чтобы плавать среди хищных соратников по партии, надо обладать отличным боковым зрением...

– Так вот вы где! Нехорошо, товарищ Жид! – Свиблис был очень обижен. – Все ждут вас в сквере у "Большого", а вы... Мы же смотрим сегодня "Жизель"... зачем вы залезли на ящик?

В третьем акте балета Жид всхрапнул. Привиделся ему сон, который он потом еле смог припомнить.

Жорж Даби, писатель-авантюрист, тщетно борется с буржуазной моралью. Рецидивирует туберкулез – метка юности в мансардах Сен-Дени. Выход один – ехать в Союз и латать каверну. В духе лучших песнопений Боссюэ Даби пишет оду Москве:

В строю рассыпанных народов
Готов я ползть по карте мира,
В краю багряных пантеонов
Хочу припасть к стопе кумира.
Москва. Вожди. Стандартов колыханья.
И ниша скромная в стене Кремля –
Мое заветное желанье.

В Союзе Писателей разгорелся спор. – Ода наивна, но искренность подкупает, – сказал Сучков. – Ладно! – резюмировал Свиблис. – Пускай приезжает. Поживет в Москве, на воль-

ных харчах, а там посмотрим. Может и заслужит путевку в "Артек".

И вот – Даби в Москве. Его встречают. Везут в "Метрополь". Белка Нкруманян корректирует осечки. Программа перегружена: завод "Малтяжмаш", детдом №8, бассейн "Лекало". Всюду тосты, всюду речи. Даби опасается за свои легкие. День завершается в ложе "Большого". Идет "Жизель". Даби мутит. Пробираясь к туалету, его заносит не в ту уборную. Перед ним – балерина. Совсем девчонка. Присмотревшись, он видит, что ей все 30. Робкая. Из бывших? Шьет платье. Из крепдешина, купленного сегодня в пассаже "Петровка". Вся дрожит при виде иностранца. Он бледен и помят. В полосатых брюках, в белом шарфе стоит перед ней писатель-авантюрист. Беседа затянулась. В ложе ищут пропавшего Даби. Но тот уже идет по улицам Москвы, держа под руку хрупкую подругу. В кренделеобразном подъезде у Красных Ворот пришла пора прощаться. Он погладил ей волосы. Она припала к его груди. Остальное – хрестоматийно. В коммуналке все спали. Глухо стонал отец – ветеран двух революций. Нервно ворочалась мать – машинистка Госплана. На постели, отгороженной большим шкафом, они залегли. Даби вспомнил про каверну слишком поздно. Так или иначе, они все были обречены. В эту темную ночь 35-го года. По лепным потолкам пробегали тени, по улицам мчались одинокие эмки, по 6-й части света полз социализм.

На рассвете Даби тихо оделся, повязал шарф и вышел. Безлюдны и таинственны были улицы столицы. Картины де Кирико напомнили они ему. Но вот – звякнул трамвай, заскрипели пружины, и все тут наполнилось веселым гамом. На Даби высыпала жизнерадостная толпа москвичей.

Сергей Шац

Светлане Богатырь

КАК Я ПИШУ

Я пишу только о том, что видел сам. Вот, например, еду я вчера в метро. На Фрунзенской заходит в вагон шикарно одетый малый и садится как раз напротив меня. В руках у него большая, накрытая тряпкой клетка. В ней кто-то шуршит и негромко так скребется.

— Попугайчик? — спросила сидящая рядом с ним толстая тетка. — Заболел, что ли?

— Не-е, есть просит, — ответил малый и вытащил яркую пластмассовую иностранную баночку. — Вот, специальный корм.

Весь вагон с интересом наблюдал за ним. Он слегка встряхнул клетку и потом снял тряпку...

Да-а, много я чего про Японию слышал. Ну, например, что выращивают в горшках деревья. И ладно бы деревья, зверей крохотных выводят! У них медведь меньше кошки. Хотя, если по правде сказать, до вчерашнего дня я в это не верил...

Так вот, снимает он тряпку, и кто же оказывается в клетке? Малюсенькая японочка! Все прямо ахнули.

— Из Японии привез, — сказал малый и насыпал ей корма.

Японочка закатала рукава кимоно и стала есть. Потом взяла инструмент, вроде гитары, и запела. Хорошо, жалобно так! Когда она кончила, малый снова накрыл клетку, и японочка затихла.

– Куда ж ты ее везешь? – спросила тетка.

– Продавать везу, на птичий рынок.

Вот гад! Меня прямо в жар бросило.

– И сколько же за нее хотите? – еле сдерживаясь, спросил я.

– Рублей за сто отдам, – оглядев меня, сказал малый.

– У меня столько нет, я привезу.

– Не-е, мне сейчас нужно, – сказал он и отвернулся.

– Да что ж это, граждане! – закричала вдруг тетка. – Давайте сложимся!

– Правильно! – поддержал ее хмурый полковник. – Выкупим и отпустим на свободу.

Он снял папаху и пошел с ней по вагону. Пассажиры стали доставать кошельки и опускать деньги в папаху. Настроение у всех было приподнятое. Мы доехали уже до Кировской, а из вагона так никто и не вышел.

Наконец, сумма набралась. Малый пересчитал деньги, сунул в карман и, когда поезд остановился, выскочил из вагона.

– Бери, парень, клетку, – сказал мне полковник. – Доедешь до Сокольников, выпусти ее в парк.

– Нельзя ее выпускать, ноябрь уже! – всполошилась тетка. – Отдайте ее мне!

Я посмотрел на нее. Славная была женщина.

– Берите, мамаша, – сказал я.

Была уже Красносельская. Я вышел из вагона и поехал в обратную сторону – свою станцию я, конечно, давно пропустил.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Бытие определяет сознание

Рассвет застал Кралю на памятнике. Она встряхнулась, неуклюже повернулась задом и оставила на статуе еще одно белесоватое пятно – старик все стерпит...

В небе с утра пораньше уже летали Попка, Муся и драный Аким.

— Здорово, братва! — издалека закричала Краля, рассекая упругий утренний воздух.

Вороны с криками закружились вокруг нее.

— Оц-цоц-переверцоц, бабушка здорова!.. — заблажил Попка, комично приплясывая на лету.

— Айда на помойку! — прохрипел голодный Аким.

— Сейчас, разбежались! — огрызнулась Муська. — В зоопарк давайте!

— Точно, свеженького пожевать охота! — поддержал ее Попка, поворачивая к зеленому квадрату парка.

Вороны одна за другой потянулись за ним.

В зоопарке уже начался день. Отовсюду доносились разноголосое рычание, шум, крики. Из дощатого домика вылезли орлы и теперь расхаживали вдоль решетки, поджидая завтрак. Ворона расположилась поодаль.

Последним появился облезлый, словно молью поеденный, старый гриф. Он пару раз с трудом махнул крыльями и заперхал сухим утренним кашлем.

— Идет, идет! — взолнованно закричал Попка.

К вольеру подошел служитель и принялся бросать птицам мясо.

Вороны замелькали в воздухе.

— Па-шли, па-шли! — служитель замахал руками, орлы забегали по вольеру, суетливо подбирая куски мяса.

Воронам ничего не доставалось, и они снова расселись на деревьях. Завтрак кончался, один старик-гриф, прижав мясо к земле, не спеша рвал от него куски.

— Мазурики, все им задарма! — крикнул Аким. Нервы у него были ни к черту.

— Ага, куры вонючие! — присоединилась к нему Муська. — Через забор перелететь не могут!

— Кудах-тах-тах, сейчас яичко снесут! — заржал Попка.

Орел Валя перестал чистить перья и с ненавистью посмотрел на него.

— Айда на помойку! — снова предложил Аким.

— Погоди ты! — Краля слетела с дерева и приземлилась недалеко от грифа. Никто не обращал на нее внимания.

— Хороша, душа поет! — мусоля мясо, проблеял гриф.

Ворона огляделась и, подскочив к нему, дернула за хвост.

— А, чего? — обернулся гриф, изогнув худую дряблую шею.

– Рубай, дед! – ворона безразлично уставилась на небо.

Гриф подозрительно покосился на нее, что-то промычал и взялся за мясо.

– У, старый хрен! – Краля дернула его и выдрала перо.

– Чего... хулиганишь!.. – задыхаясь, проорал гриф.

Краля боком поскакала вокруг него. Старик затрясся и, вытянув шею, заковылял за ней.

Неожиданно ворона сделала стремительный прыжок и, схватив недоеденный кусок мяса, взмыла вверх.

– Ну, артистка! – зашелся Попка.

– Валек, Валек! – жалобно закричал гриф.

Орел Валя яростно заклекотал и запрыгал по вольеру.

– Взлететь бы, я б ее убил! – взвыл он, бессильно махая крыльями.

Ворона поднялась уже высоко.

– Э-э! Э-э! С ребятами поделись! – опомнившись, завопил Аким и рванулся за ней. Следом помчались и остальные.

Краля летела не оглядываясь, резко меняя направление. Мясо, однако, мешало маневрировать, и скоро ее стали нагонять. Наконец, на одном из поворотов легкая на крыло Муся спикировала на нее и сильно долбанула клювом.

– Так ее! – крикнул сзади Аким.

– Ну, сволочь!.. – Краля отпустила мясо и бросилась на Муську...

Драки, однако, не получилось. Не ожидавшая такого отпора Муська быстро ретировалась, оставив сопернице несколько мелких, не слишком важных перьев.

– Тьфу! – с чувством выплюнула их Краля.

Мясо свалилось на голову какому-то толстяку в шляпе, и теперь все стоявшие на автобусной остановке с недоумением пялились на небо. Попка и Аким были здесь же. Они сидели на краю крыши, ожидая автобус.

Краля вздохнула и полетела в сторону помойки. Теперь уже не на шутку захотелось есть.

На сквере старуха кормила голубей. Они давились, жадно вырывая друг у друга крошки.

– Толсто...! – презрительно фыркнула ворона.

Невдалеке под чахлым кустиком дремали две бездомные собаки. Одного, грязно-белого здоровенного Дика, ворона знала. Второй, похоже, был новичком. По виду он напоминал

болонку, но имел кое-где рыжеватые подпалины. Он был худ, шерсть с боков свалялась и висела бурыми колтунами. Рядом с Диком лежала недоеденная кость.

"Ох, сейчас устрою!" – обрадовалась Краля.

– Полундра, мотайте, ребята! – снижаясь, истошно закричала она.

Собаки вскочили и, как ошпаренные, кинулись бежать.

– Ну, дурачье! – захохотала ворона, подбирая кость.

И тут она увидела бегущих к ним наперерез людей. У одного была палка с болтающейся на конце удавкой, у другого – длинный железный крюк. Собаки тоже заметили их. Дик огромными прыжками понесся прочь, новичок же растерялся, заметался из стороны в сторону. Мужик с крюком зацепил его, а второй сзади ловко набросил удавку.

Все произошло ужасно быстро. Ворона сидела на дереве и смотрела, как его тащили к железному фургону.

– За что?!. За что?!. – надрывался он.

Фургон уехал.

Краля несколько раз ткнула кость клювом. Есть расхотелось.

"И чего я раскисла? – сердито подумала она. – Ну, замели его, сам виноват! Встряхнуться надо!"

Она встряхнулась и, чтобы окончательно взбодриться, громко запела:

– Когда фонарики качаются ночные...

Внезапно она замолчала. Под деревом понуро стоял Дик.

– Вот вышло-то как, – протянул он, покачал головой. – Спасибо, предупредила. А то я думал – все вы паскуды. Ты приходи на поминки, там на пустыре будут.

Дик, не оборачиваясь, поплелся через сквер...

Это что ж получается, вроде, она Дика спасла?! В голове у вороны началась какая-то неразбериха. Она нелепо взмахнула крыльями, что-то забормотала.

Мимо деревьев пролетел Попка.

– Чего сидишь, на Грузинке кошку задавило! – не останавливаясь, крикнул он.

– Пошел ты!.. – огрызнулась Краля.

Попка с удивлением оглянулся на нее.

– Говорят, вали отсюда! – взорвалась Краля.

Это что ж получается, а?..

– Слышь, ты меня прости! – крикнула она вслед Дику, но ее слова потонули в уличном шуме.

– А вот и пойду! – неожиданно воскликнула она. – Мне, может, ихняя кость и на фиг не была нужна!

Она снялась с ветки и полетела догонять Дика.

На пустыре уже собралась вся стая. В середине, перед кучкой снесенных объедков, сидела беззубая Пальма – мать и бабка почти всех присутствующих собак.

– Давай к нам! – позвала она Кралю.

Ворона выбрала полкуска колбасы и отпрыгнула в сторону. Все принялись за еду.

– Помянем покойника, – сказала Пальма, когда собаки наелись.

Псы задрали головы и тоскливо завыли. Внутри у вороны вдруг что-то дрогнуло, заклокотало, она подняла голову и, как могла, завыла с остальными. Никто не останавливал ее.

Окна близлежащих домов стали открываться, и появились рассерженные лица людей. Какой-то дядька злобно выругался, исчез, а затем снова показался, но уже с духовушкой в руках. Грохнул выстрел.

– А-о-у-у! – собаки с воем бросились врассыпную.

– Ты что ж, гад!.. – ворона взвилась вверх и потом, пикируя, ринулась на него.

Раздался второй выстрел...

Когда она очнулась, был вечер. Тело страшно болело. Краля с трудом приподнялась и, волоча крылья, поползла к луже. Внутри все горело. Она наклонилась... В воде отражалась белая ворона...

ЛОШАДЬ БУДЕННОГО

В ветеринарном сарае было темно.

– Ох, давление растет! Видно, погода меняется, – вздохнула свинья. Что это лошадь к нам привели?

– Спятила она, вот что, – объяснил баран. – Говорит, лошадь Буденного. Жанка, Жанка! – позвал он.

Лошадь молча стояла в углу.

– Эй, лошадь Буденного! – снова позвал он.

– Чего тебе? – нехотя отозвалась та.

– Слышала, на лошадь Буденного отзывается! – захохотал баран и закашлялся.

Свинья беззвучно колыхалась от смеха.

Скрипнула дверь. В сарае появился ветеринар в грязном белом халате и зоотехник Степан Андреевич.

– Вон она в углу, – мрачно сказал зоотехник и щелкнул выключателем.

– Ну-с, что с нами случилось? – спросил ветеринар и двинулся к лошади.

– Не подходи! – закричала Жанка и взбрыкнула задними ногами.

– Нечего цацкаться, на мясокомбинат ее! – отшатнувшись, заорал зоотехник.

– Погоди ты, Степан Андреевич! – с досадой сказал ветеринар. – Тут дело деликатное.

Он прочистил горло и, набрав воздуха, приятным голосом запел: "Мы красные кавалеристы..."

– Подпевай! – толкнул он зоотехника.

Тот не пел, а хрипло выкрикивал слова.

Лошадь присмирела и подпустила к себе.

– Ну вот и славно, мы ж свои, красные! – сказал ветеринар. Он вытащил стетоскоп и приложил к худому боку лошади.

– Дыши!

Лошадь задышала, из пасти у нее повалил пар.

– Надо бы ее подкормить, – сказал ветеринар.

Зоотехник задумчиво покопался в кармане, достал кусок сахара и протянул Жанке. Лошадь понюхала и отвернулась.

– Дура, я-то в чем виноват! – с обидой сказал Степан Андреевич и сунул сахар к себе в рот.

– Кто ж тебе сказал, что ты лошадь Буденного? – спросил ветеринар.

– Сама знаю, – хмуро отозвалась лошадь.

– Врет она все! – закричал баран. – Тут бронхит не проходит, а она: "Лошадь Буденного! Лошадь Буденного!"

Свинья засмеялась.

– Тихо вы! – прикрикнул ветеринар. – Это, знаешь, еще доказать надо. Ты такое сделай, чтоб все поверили.

– Правильно! – поддержала его свинья. – Пускай сделает, чтоб мы выздоровели!

– Или ферму кормами обеспечит, – буркнул в кулак Степан Андреевич.

– А я, гражданин ветеринар, так думаю, – вмешался баран, – пускай она взлетит, тогда поверим!

– Ты на что ее подбиваешь? – стал наступать на него Степан Андреевич. – А если и правда взлетит, кто за нее отчитываться будет?

– Как взлетит?.. Ты соображаешь, что говоришь? – закричал ветеринар.

– А вот и взлечу! – насупившись, произнесла лошадь.

Ветеринар оторопело уставился на нее.

– Ну, как знаешь, – пробормотал он. – Значит так, завтра в десять взлетаешь на скотном дворе.

Он двинулся к выходу, за ним зоотехник.

Ночью был морозец, но к десяти часам все снова раскваснлось. На скотном дворе собрался народ, в стороне молча стояло стадо, даже свинья по такому случаю выползла из сарая.

Вперед вышел заведующий фермой, вытащил листок и начал читать.

– Конечно, хотелось бы, чтобы именно в нашем хозяйстве родилась и прожила жизнь лошадь Буденного.

Все захлопали.

– Мы знаем Жанку, как честную лошадь-труженицу, однако ветеринарная наука не позволяет нам верить на слово. Поэтому ей предлагается с трех попыток подняться над землей, в таком случае она будет признана лошадью Буденного.

Заведующий убрал листок.

Жанка стояла посреди скотного двора, разъезженного колесами тракторов. Все смотрели на нее.

– Просим, просим, – сказал заведующий.

Лошадь подобралась и подпрыгнула вверх.

Взлететь ей не удалось. Она упала, ноги у нее разъехались, и она плюхнулась на живот.

– С мягкой посадкой тебя! – сказал ветеринар. Кругом засмеялись.

– Вторая попытка! – объявил заведующий и стал стряхивать с пальто грязь, полетевшую из-под лошади.

На этот раз она подпрыгнула выше, но все равно не взлетела. Она поднялась и, вытянув шею, стала протяжно звать:

– Семен Михалы-ыч! Семен Михалы-ыч!..

– Вот он я! – отозвался вдруг из толпы мужичонка и начал пробираться к ней.

– Это ж Сенька из Сычовки! Сенька, ты куда?

Сенька подбежал к лошади и стал карабкаться на нее.

– Давайте, Семен Михалыч, давайте! – подбадривала его лошадь.

– Ой, не могу, держите меня! – валясь на бок, захохотала свинья. – Ну, наездник!

Наконец, Сенька забрался.

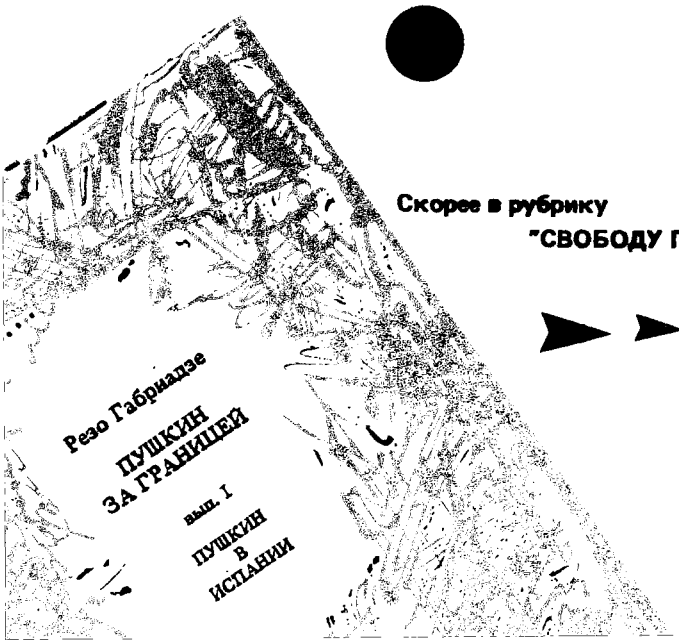
– Гони! – крикнул он. – Ура-а-а!

Лошадь с места взяла в галоп и понеслась по скотному двору. У изгороди она отделилась от земли и полетела. Народ с криком шарахнулся в сторону. Степан же Андреевич вдруг кинулся за ней, но подскользнулся и упал.

– Эх, е-мое! Живешь тут!.. – выругался он и стал вытирать об штаны вымазанные руки.

Между тем, лошадь поднялась уже высоко. Сенька неподвижно видел на ней и смотрел вдаль в развевающейся на ветру расстегнутой телогрейке.

– Полагаю, с ходатайством надо выйти, – сказал заведующий фермой. Присвоить хозяйству имя лошади товарища Буденного.



Андрей Чернов

ОСТРОВ НА ПРИБРЕЖЬИ
поэма о любви

тошно так —
(Проба пера, тетрадь ПД 838, л. 75, 1828 г.)

I

А чтобы не забыть — поверх могилы
стихи про голодаевский бордель
и фельдшера вульгарная латынь —
рецепт от гонореи. Будто знал,
что будут рыть в бумагах. А еще
пошлют на экспертизу. Академик,
латыш, светило красной медицины,
даст заключенье: мол, не устарел,
но доза не указана. Засим
ему провизор выставит брезгливо
копайского бальзама, алкоголя
в растворе померанцевой воды —
ноль-ноль, ноль-пять, ноль-стотридцатьшестых
глотать, поскольку стыдно запускать.
Болеть не стыдно. Запускать нельзя.

Сначала станут уставать друзья.
Ну что, нашел? И с видом идиота:
ага. А что? Лекарство от болезни.
А кости? кости? Я копал архивы.
Потом забор некрашеный. Две ивы
и ветхий домик. А еще сличить
с другой страницей тот же самый профиль
скалы на берегу варяжских волн,
вертлявый челн... нас тоже было много,
не меньше чем на площади у них,
а что осталось? этот в референты,
тот за бугор: ни жизни, ни легенды.
А я в архив, и двери на запор.

Итак — Россия. Лета. Панацея.
Зачем за шторкой синий Мандельштам
косит на Вересаева? Бодрее
карабкаемся к самой кромке — там,
где образец, одушевленный в школе,
расстрижен ради красного словца,
и в красных пятнах проступившей соли
на фраке, на кирасе, на камзоле
чуть золотится прежняя пыльца.

Что стоит гений в жизни?.. Три червонца.
А в супере?.. Придется поискать
в книгообмене... А нельзя ль занять
того знакомца вашего, японца?..
В торгсине? неудобно, н-да... А в лавке
у Киры Викторовны?.. Нох айн маль!..
Там есть две-три купированных главки.
А если ксерокс? Жаль. Чертовски жаль.

Что стоит смерть? Сначала просто дата
падения Бастилии, но год
родной, сибирский. Слово ренегата
грассирует, срываясь запятой,
а разберешь по петлям, вроде Gonor... —
какой там гонор! Сунутся в тетрадь
и крякнут. Дубельт скажет: и крестьянки
любить умеют? Модные проказы
на лоне?.. И для верности рецепт —
на вот, возьми!.. что, репка?.. А потомство,
потомство разберет.

Не приведи
сойтись накоротке с черновиком
его болезни. Если гений — норма,
он перебрал ее в 26-м, —
пугали вытрезвиловкой, психушкой,
потом похмелье: плаха, пистолет...
топор — Андре Шенье — нож гильотины —
тесак армейский — дырка — ключ от дверцы
его покоя. Не спирит в припадке
медитативном, он не приручал
потустороннего, но как Евгений —
не этот — тот! — казался неуместным,
шел площадью и руку прижимал.
А мы другие.

II

Впрочем, вот сюжет:
три брата, греки, видимо, — торговцы,
островитяне: только мочи нет —
их режут и стригут; они ж не овцы!..
И вдруг эскадра. Рыжий граф Орлов
витийствует под флагом Византии.
Подумали и наломали дров,
когда в султана брандер запустили.
И тых! и пли!.. Но русские ушли,
а турки тут. Тут братья приуныли,
потом оставшиеся корабли
оставшимся товаром нагрузили
и вслед за ветром тоже проползли
в пролив, а там без пушек, как без визы!
Ну и отдали все, что снять могли —
с плеча кафтан, а с чудотворной ризы...
прошли. И Афанасий, старший брат
из братьев Гоноропуло — царице
сумел вручить чувствительный доклад
об иммиграции из-за границы.
Потом назначен чем-то при дворе,
поскольку был внушительный мужчина
(кто оценил бы это при Петре?)
и вот помимо звания и чина,
взамен отеческого островка
пожалован — да подавитесь, турки! —
таким же точно, только в Петербурге,
близ Голодая, где Нева-река.

III

У взморья на прибрежьи Голодая
стоял почти артиллерийский гул,
когда в волнах балтийских пропадая,
один чиновник чуть не утонул.
А получилось глупо. Утро было
безоблачным, молочная река
казалось, не текла, а лишь скользила
наперекор теченью ветерка.
Зато лучи слоились торопливо,
да отраженья шпилей и крестов
стекали вплоть до самого залива,
размножены устоями мостов.
И даже ангел был, как настоящий:
он разомкнул хрустальный этот ларь
и в плоской глубине зажег дрожащий
волшебный, но вполне цветной фонарь,

навеявший Венецию иль Ниццу
тому, кто погостил и в тех гостях,
покуда изучали мы таблицу
погоды в "Биржевых Ведомостях".
В июле восемьсот двадцать седьмого
сиянье солнца ясно и тепло...
А впрочем, если длинно слово в слово,
возьмем 14-е число —
все то же — сухо, ясно и тепло.
15-е... тут нам повезло,
предоставляем слово очевидцу:

IV

А мне опять на хлеб и чечевицу,
когда бы он и вовсе там утоп?
Им — если не по ним — так за границу.
А то за саблю — да и пулю в лоб.
А нам нельзя. И барин-то не строгий:
туда, мол, я один, а ты смотри
на лихаче по этой вот дороге
приедь за мной и лодку забери.
Мол, знаешь ли, где греческая мыза
за кладбищем?.. Мы здешние. Ну, слазь!
И кто же ожидал того сюрприза:
чуть пушка бух — и буря поднялась...
А там коса. Совсем гнилое место.
Канатка. Бойня. Ямы для скота.
И берег там у берега, как тесто.
Бонжур из-под коровьего хвоста.
А без привычки, в бурю, да на лодке —
накроет, как гранатой. И готов.
Когда не знать подхода. Посередке
протоки. У избушки рыбаков.
Бегом до этих самых гоноропул...
Какие рыбаки!.. А так продрог —
от страха на порог да грудью об пол
от страха тоже: ты живой, сынок?
А он: и я бы мог, и я бы мог...

V

Зачем они стояли в декабре,
как мальчики пылая и робея?
Зачем тогда построились в каре
вокруг Петра? Была ли в том идея
восстания? Повстанец-молодец
идет на площадь, чтоб ввязаться в драку,
и прет на приступ — крепость ли, дворец, —

ему какая разница? — в атаку!..
Стояли час. И два. И три, и пять.
Прошли сквозь Зимний и сейчас отдали.
Еще не поздно было начинать
révolution. А все-таки стояли
напротив обалдевшего врага —
чего стоят?! — почти на самой кромке
разумного. Каленая пурга
лизала плоским пламенем поземки
их сапоги. Причем тут Трубецкой?
Причем тут сколько? Много или мало —
каре не атакует. Это строй
для обороны. Пуля в генерала —
еще не довод. Присягнул Сенат,
и поздно, поздно... экая дешевка
палить в своих, когда стоит парад
свободы. Или — скажем — забастовка....
военных. Так в 20-м, в сентябре,
семеновцы... А если длить примеры —
еще при Алексее и Петре
в своих скитах стояли староверы.
Горели, но стояли. И металл
крестов нательных — прожигал скрижали.
Так гефсиманский праведник стоял,
когда легионеры набежали.

VI

Прибрежье. Опрокинутая лодка.
Прошедшей бури грязное белье.
О чем он думал? Отчего неловко
за гения домысливать свое?
И возводить под крышу комментарий,
в котором все расчислено стократ.
А наши сны, сухие, как гербарий,
на общее посмешище торчат.
Ни дождика, ни вольного волненья
на глянцевых полях временника.
А может, нас страшит сопоставленье
с той высотой, что слишком высока?
Считать колючки на венце терновом?
Скажи, зачем? А то, войдя в права,
уже остепененным острословом
открыть, что Белкин — это голова!
Себя он строил, новый Долгорукий,
по плану! И к тому ж еще писал.
...неужто меж истерикой и скукой
пройдем как между тех античных скал?

VII

15-го утром — что ж так душно? —
записка Соболевскому. Ответь,
где слов занять, когда утешить нужно?
Мать умерла у друга — вроде смерть
обычная — письмо не получилось,
а почта в полдень, надобно поспеть,
Сережка плох — то ангелы, то черти
ему поют... но их в одном конверте
согласно воле автора — в огонь.
Потом к Сенату, где петровский конь
грызет позеленевшую уздечку —
напружился и замер — шпорой тронь,
как заводной махнет и через речку,
и по прямой — до взморья, до скалы,
где пеший Петр в безумном озареньи
увидел город свой,
где пенились валы
и чей-то челн изнемогал в бореньи...
Но стыдно пересказывать стихи.
Стихами же тем более негоже:
не плагиат, а не сварить ухи
из съеденной метафоры. И все же
оглянемся на площадь. Вот Сенат,
он был под самой крышею украшен
весами правосудья. Говорят,
когда на зорьке высыпали наши, —
кто был порасторопней из низов
сюда для обозрения взобрался.
А пушки били вверх. И с тех весов
торчало человеческое мясо.
Левее — царь на финском валуне.
Исаакий монументом долгострою —
поскольку прежний был на плывуне
да так и развалился сам собою.
Ладьей на фланге знаменитый дом
Лобанова, а там свободным полем
назад к Сенату — и возьмем конем —
он по прямой не может, а глаголем
бьет даже крепость. Шах. И снова шах.
И не указ плешивый и усатый
простывшему на этих площадях,
под сквер задрапированных цитатой.
Ему-то что? Знакомые места.
А площадь даже чересчур знакома.
И там, где никакого нет моста,
он перейдет до Пушкинского Дома.
Решившийся — пересечет черту

и отряхнет летейское томленье,
и с мужиком столкуется в порту,
и поплывет в известном направленьи
под всполохи негаданной грозы,
пробормотавшей орудийным басом
о том, что бутафорские весы
вновь нагрузили человечьим мясом.

VIII

16-го дождь не затихал
до темноты, взамен прогулки — прочерк.
Зато он прямо с ходу записал
стихотворение в пятнадцать строчек.
Кто заглянул в его черновики
и в буреломе правки чертыхался —
признается: легенде вопреки
он легкостью пера не отличался.
Но потому-то гений и велик,
и в том его отличье от таланта,
что лезет к абсолюту напрямик,
не соблазнясь полушкой варианта,
каким бы гладким ни казался он,
каким бы ни был крепким или броским, —
как будто формулирует закон,
открытый для полета Циолковским.
А что? Видать от века такова
нехитрая, но тайная наука
в строке аккумулировать слова
посредством чувства и посредством звука.
Ступень сгорает — вот и черновик.
А варианты множат ускоренье.
...он попытался править, в этот миг
едва не загубив стихотворенья
весьма простого: вот и у Шенье
в элегии — почти что и об этом —
одна компания в одном челне
плывет увлечена одним сюжетом,
вдруг вихрь, все гибнет, воет Аквилон
(всегдашняя реакция на бурю!)
и только тот, что спереди, — спасен,
расхлебывает не тюрьму, а тюрю,
и разведя толикою слезы,
он примеряет впрок венец вилюйский,
поскольку повенчались две грозы —
в одном кольце — декабрьская с июльской.
Кто был повешен — утонуть не мог.
А он бы мог — вчера хотя бы — впрочем
не утонул, и может статься, срок

повешенья — не минул, но отсрочен.
А строчки... хорошо бы их в печать
под звездочкой сигнальной анонима
да поглупей название сыскать
и мимо Сциллы и Харибды мимо —
в набор. Но совпаденье каково:
оскаленный утес, жилище грека,
еще дельфин — откуда? — как его,
того поэта из VI века?
...корабль захвачен варварами, он
на берег вынесен разумным зверем.
Еще звезда такая... О-рион?
а может, — А — ? Ну, в словаре проверим.

IX

Пиши, да выраженья выбирай.
Мы не чета французам или туркам:
у нас народность. Впрочем, Николай
был, подражая бабке, драматургом.
Перебираясь в Царское Село,
на лоне незначительной природы
он громоздил завистникам назло
почти державинские обороты.
Он в людях понимал и в лошадях.
Но где тот зал на сорок миллионов? —
и он играл на римских площадях
за неименьем римских стадионов.
И распушив гвардейские усы,
и домиком ост-зейским сдвинув бровки,
писал, писал — порой не без слезы —
что? всенародные инсценировки:
На среду. Взять от каждого полку
по взводу их. И по две роты наших.
В одно каре — он был не глуп! — к носку
носок, и на колено — в память павших
читать на литургии литию
по убиенным за царя и веру —
уж если ограничился пятью,
блюди себя — придраться к офицеру —
четвертого в шеренге наградить —
а впрочем лучше третьего — тогда же
митрополиту площадь окропить —
императрице ехать в экипаже —
клин — клином... возле статуи Петра
орудья с передков и непременно
всем строем троекратное ура
кричать в честь избавления от плена

крамолы бунта... А на вторник то,
что будет посильней, чем все премьеры,
все ваши бенефисы... пусть никто
его там не увидит... для примера
конечно бы не худо наблюдать
и самому — но это неудобно:
у нас под петлей любят оскорблять —
с них станется... он расписал подробно
куда, кому, и вслед за кем, и как,
и как прибить табличку с именами,
но тут Сперанский влез: нельзя никак
табличку! Почему же? В каждом храме
такая... Ну и что? Ах, да — Пилат.
Гляди куда каналья намекает.
Чуть увлечешься — каждый попрекает.
Тем лучше. Пусть инкогнито висят.

X

Что значит жизнь, когда отворена
и хлещет на булыжник как из жерла?
Какая там заря, когда цена
за пораженье — даже и не жертва,
а только срам раскаянья — при всей
возвышенности цели — в перекрестных
допросах выгораживать друзей
и выдавать других, и старцев грозных
просить о снисхождении — потом
сознаться в преступлениях, в которых
ни сном, ни духом — но стоять на том
и утверждаться в самооговорах,
а тот — не знаю — нет — не говорил —
не вовлекал — мальчишки, аматеры,
они сойдут, но если хватит сил,
сойдутся бородаты и матеры.
Один опять возьмет под козырек,
а тот ему в ответ земным поклоном...
За что?.. За то, что в Общество вовлек
и этим спас, когда я был зеленым
юнцом...
и веротяно, не у них
нам спрашивать: в чем все-таки причина,
что минет век, и посреди живых
такая заведется бесовщина,
такие типы! — что там Николай?
Он был весьма интеллигентным немцем.
Умоемся кровищей через край.
И оботрем кровавым полотенцем.

XI

Но это после. А в 28-м
в кругу друзей поэт предал огласке
забавную историю о том,
как ездил черт в извозчичьей коляске.
Московский литератор В. Титов,
приятельских не преступая правил,
ее украл для "Северных Цветов".
И он простил? Ну да. Но стиль поправил.
И мы введем в четырехстопный стих,
фраппируя переводною прозой,
то, что однажды у Карамзиных
поэт поведал нарочитой прозой:

Кому случается гулять кругом Васильевского острова,
в пути не мог не наблюдать противоречья серьезного
меж южной стороной и той, которая нетерпеливо вда-
ется длинною косою в дремотные ряды залива.
По мере приближенья к ней узор украшенных камней ре-
деет. Пышные строенья сменились хижинами. Но
и те отстали. В отдаленьи едва проставлено пятно
зеленой рощи, а вокруг лишь пустыри да огороды,
и тонкий как болото луг сползает в пасмурные во-
ды. В уединеньи одичалом последнего из всех домов
меж возвышением и валом волнуется заплывший ров.
Что в нем? репейник да крапива. И летом невеселый вид,
но еще более тоскливо, когда зима преобразит все
взморье — и ледок озноба, и ров, и домик над скалой —
укрыты саваном сугроба и скованы могильной мглой.

XII

Могильной мглой?
Моги...
Что здесь теперь?
А ничего — промышленная зона.
Флотатора заделанная дверь.
Избыток фона — дефицит озона.
Чуть сбоку — не гляди, что неказист,
раскинулся величественно-просто
краснокирпичный комбинат "Марксист",
шорнокожевенное производство.
И, полно-те! — какая там скала,
какой там грек, еще скажите — эллин!
Чудны твои, о Господи, дела:
где утонул челнок — вознесся эллинг,
сиречь судостроительный сарай... —

вот славного сближения образчик:
сравненье — как его ни подбирай,
а все впустую — заурядный ящик.
И тут не то что Пушкину — куда! —
Ахматовой пейзажа не узнать бы:
прошли года и выдохлась беда.
Осталась скука да кошачьи свадьбы.
Да вот еще: клочками пустыри —
разбухшая береговая кромка:
кирпич, железо, щебень — метра три
культурный слой культурного потомка.

XIII

Конечно, император не Пилат.
Вот так и выдать мертвые тела
для погребенья родственникам? — дудки!
Невольник доли, в общем либерал,
он все-таки пока в своем рассудке.

Он помнит: подпоручишко, щенок,
затеял с царским адъютантом драться,
под пулю сунул жиденький висок —
и поделом! — еще при жизни братца
такое было, ну а что потом?
Потом они потребуют собраться
на кладбище — четыреста одних
колясок — опрокинь и баррикада —
за гробом как-никак проходит цвет
крамолы — нет, нам этого не надо —
венки да речи, слезы да стишки:
клянемся честью, мол, и все такое —
на, выкуси! — всех пятерых в мешки
да в извести поблизости с рекою —
и заравнять.

Ну кто виновен, кто
знал, что в срок откроется и это,
когда войдет в расстрелянном пальто
немая тень счастливого поэта
и позовет. И счастье, что она,
вдова, гадая, где его могила,
в его вину поверила сполна —
не к жертве, а к герою приходила.
И где другая у немой черты
цветы сажала, место примечая,
она рвала могильные цветы
и шла сквозь город в гроздьях иван-чая.
Вы с рынка, аннандревна? вот букет,

он вам к лицу; заметим по-старинке —
поклонника имеете? ах, нет,
мы промахнулись — все-таки на рынке?
На берегу пустынных волн. И тут
как громом: говорил тебе когда-то,
гляди — во глубине сибирских руд —
по интонации самоцитата.
Кто это — муж, а может Мандельштам? —
...гляди, гляди! — аукается славно:
на берегу пустынных волн — а там
во глубине сибирских руд? — забавно,
к чему бы вдруг? И поздно, как во сне
увидеть все — о Господи, как просто...
На берегу. Потом во глубине.
И тоже без креста и вне погоста.
Так значит здесь и те? И это здесь?
И как ни холодно, как ни постыло,
а надо круг за кругом через весь... —
и выжить, рассказав, что́ это было.
Ей в ад сойти привычно как метро.
Облаяли? Такую не облаешь.
Перо не шпага — потому перо
над головой-захочешь — не сломаешь.

XIV

Когда бы мы затеяли роман —
здесь непременно звонко брызнув шпорой,
явился б лейб-драгунский капитан,
тот самый Гоноропуло, который
который раз мелькает за дверьми:
чего же тянет автор, черт возьми!
Да-да, войдите. Почему бы нет?
Спешат слова на строчку нанизаться,
вплетя в беллетристический сюжет
живой портрет парадного мерзавца.
Что стоит служба? Служба есть талант
поймать приказ да обернуться быстро.
Он был талантлив, этот адъютант
Татищева, военного министра.
Шестерка, да козырная. Дружок,
вели спасать российскую державу.
Тут приготовят с мясом пирожок,
а кушать полицмейстеру Дершау.
По мне бы проще в крепости, во рву,
да рядом усыпальница с царями...
Другое дело, ежели в Неву —
как говорится, в воду и с концами —
опять нельзя! А ежели всплывут?

А с якорем? А ежели случайно
подденут бреднем — и пойдем под суд,
ведь это государственная тайна
и даже выше! — вот и разумей,
какую нам загадку загадали:
во-первых, чтоб подальше от царей,
а во-вторых, чтоб люди не видали.

XV

Он подавленье бунта прогулял
на императорском императиве.
(О чем и сообщает формуляр
ин-фолио в лефортовском архиве).
Привез из Таганрога без потерь
прах августейший — бац! — и новый случай:
по справочнику Аллера проверь —
не отыскать кандидатуры лучшей
в могильщики.
Но что там из прорех
сочится меж эпитетов железных?
О как легко судить сегодня тех
истории статистов бессловесных!
Ты в том же формуляре посмотри:
ну что с того, что вышел адъютантом? —
вот ордена, их даже целых три —
две Анны, а еше Владимир с бантом,
все боевые. И зрачком в упор
медаль за Дрезден. Что такое знаем
про этих? Гоноропуло Егор
на ратном поле не был негодяем.
Где факел истины? Где кислый торф
навета? Все перепроверить надо.
А это кто? А это Бенкендорф
на фоне партизанского отряда.
А это? Это Лунин, это наш.
(Поосторожней, он чужих не любит.)
А тот, что рядом? Этакий типаж!..
Как кто? Его дружок, Леонтий Дубельт.
Вернемся. Что теснилось в голове?
Что жгло в груди? Что вообще известно?
А если он рылеевской вдове
открыл, где это проклятое место?
Ведь знала же... Не этот ли Егор,
смотритель вечности в земной неволе,
здесь поновлял некрашеный забор?
И тот прохожий не через него ли
открыл, что здесь, да здесь! — скакун достал-
таки Евгения копытом...

Скала на займище. А проще — вал,
подмытая руина на открытом —
здесь частное владенье! — островке
(150 на 200) — это летом,
когда футштокский уровень в реке,
и посуху пройдешь. По эполетам
о доблести не судят. Аксельбант —
не аргумент. Споткнешься, обнаружив —
еще драгун и тоже адъютант
не без таланта — Александр Бестужев.
Соратники!.. Ах, Сашенька, прочти
мне из Рылеева. Ты будешь в бане?
Я с вами!.. Где расходятся пути?
Найди на плане Шуберта в спецхране.
Тот Шуберт, он дотошный немчура:
не зря ж дразнили перцем и сосиской
еще в кадетах... Вас открыть пора,
о Моцарт картографии российской!
Как цепко надо родину любить,
чтоб знать на память все ее извивы.
...а если с Пушкиным соединить?
Итак — забор некрашеный, две ивы.

XVI

Что стоит поиск? Если не найдешь
утрату романтических иллюзий. —
любой из результатов нехорош:
вступая в жизнь, изволь ползти на пузе.
Смирив гордыню, к истине ползи
из тех пеленок байковых. Вот веник.
Вот стол. Вот стул.
Не то в такой грязи
измажешься... А если в смысле денег —
на поиски три тысячи рублей
по безналичке — тот оброк, который
не знаю по которой из статей
внесен одной промышленной конторой.
Военные топографы — они
лизали крыши лазерным прибором
и привязались после всей возни
по питерским крестам да по соборам.
Потом еще бурильщики, потом... —
мы начали, но мы не завершили —
что значит поиск? Металлист в пальто
навыворот и взрослые большие
серьезные мужи... да как же их
не помянуть во здравие? — такие

все разные: начальник очистных
с "Марксиста", и художник, и другие...
(Читатель потеряет интерес
к перечисленью — экая плетенка!)
...историк, журналист и экстрасенс.
И даже два советских негритенка.
Еще ИРЛИ, а также ВСЕГЕИ,
и трест ГРИИ — он в доме Бенкендорфа,
и крепость Петропавловская, и... —
а что нашли? — да так, немного торфа.

XVII

...Неужто наша жизнь не удалась?
Пройдем, не покачнув ее устоев.
И только в школе волновали нас
предсмертные речения героев.

Когда взалкал поверженный атлант,
о юность, как за ним не повторишь ты:
Опричник! Дай свой подлый аксельбант,
не то тебе придется вешать трижды!

Как здорово про этот аксельбант!
Как сказано!.. Лет эдак через десять
и мы в сердцах цедили вариант:
Россия! Не умеют и повесить.

6.30? Дело к ночи. И коси
налево, да сиди себе за шкафом.
Стрекочет время счетчиком в такси —
чик-чик — челнок раздавлен пироскафом.

У романтизма слишком яркий свет,
и ягодки по осени большие.
На площадях 70-х лет
не вешали, но как еще душили.

Где брать героев? Ведь герой — скала.
А человек не камень — протоплазма.
А там и скука села у стола,
надутая сестра энтузиазма.

Смущенною душою подытожь:
увы, увы... а жены декабристки.
И правду не в учебнике прочтешь,
в одной биографической записке:

Когда они упали — я стоял
шагах в пятнадцати от эшафота

и подошел. Один из них лежал,
а он сидел, согнувшись в яме. Кто-то
стонал, торчал проломленный помост.
Тут фельдшера позвали на подмогу.
Он попытался выпрямиться в рост,
но подвернул ушибленную ногу —
сел боком на бревне. Сочилась кровь
из ссадины за левою щекою...
еще не приказали вешать вновь,
он поднял взгляд и произнес: "Какое
несчастье..." Говорил ли кто-нибудь
еще о чем-нибудь... — того не знаю.
Тут вообще пошла такая жуть
и спешка. Ну а мы стояли с краю.

XVIII

Что значит истина? — вопрос пустой.
Он промолчит: спроси своих сократов,
когда она стоит перед тобой
чела не опустив и глаз не спрятав.
Так что есть истина? — вопрос простой,
он улыбнется: это взгляд шекспиров.
И все? И все. Но в рукописи той,
откуда мы и выбрали эпиграф
для долгой нашей повести — пока
идет сама, пойдем ли на попятный?..
так вот, в тетради есть одна строка...
найдем ее — лист 95-й,
дубль два... а самый славный пушкинист —
все тот же Дубельт! — быть неблагодарным
как можно? — здесь и самый чистый лист
пронумерован вдумчивым жандармом.
Не то простая цифра посреди
страницы — лишь чернила красной краски.
не то стальная бирка на груди —
еще образчик бдительной подсказки...
Находим: ДЛЯТСЯ НОЧИ ДЕКАБРЯ —
что тут прибавишь? Вымарал. Однако
и эта жизнь основана не зря
на всплеске восклицательного знака.
В опальной хижине... — и вновь обрыв.
Версификационный визг форсунок.
И вдруг — обломок дерева, обрыв, —
ничем не примечательный рисунок.
А вот еще — на целый разворот,
где виселиц гунявый подголосок... —
но стоп. Не то и вправду разорвет
поэму эту от избытка сносок.

...Но если прет в расчисленной тоске
весь этот упорядоченный хаос,
да так, что человек на волоске
от диссертации пришельца — каюсь,
почудится — и белый свет не свет,
а тьма в ее кипеньи неустанном...
Когда газета на излете лет
гагаринских — придет с Афганистаном,
и вспучится как сукровица квас
коричневый... — что это там погасло? —
чур, чур! — да был ли мальчик? Здесь у нас
еще с 30-х Пушкин вместо масла.

...Так что ж, опять про то? Ну да. Опять.
Когда мы затевали телесъемку
тетрадей, повезло мне сына взять
и в ухо восьмилетнему потомку
шепнуть: дотронься! Можно? А спроси
Сергея Александровича. Можно?
А руки мыл? А покажи вблизи.
Давай мизинец, только осторожно.

Конечно, человек. Но разве тот —
не человек? Да нет, не по Ренану.
Кипит душа. А плоть? Мильон забот.
А дух? Полемизировать не стану.
Но душно и дышать все тяжелей —
так тошно — и в безверии кромешно
в эпоху маскультурных алтарей,
ну в том числе и пушкинских, конечно.
Все школа, школа — шефам дорогим
гип-гип, ура! — и рубим, рубим ниши —
вон сколько их... — дай места и другим,
кумира на кумира заменивши.
Фома, ты деградируешь. Изволь
приблизиться —
и сквозь меридианы
хоть на мизинец, но поверить боль —
вложить персты в запекшиеся раны.
Сначала струпья битым кирпичом,
а после плоть — грунт и вода — и снова
на скважину, пока не извлечем
не торф, но очертания иного
материка такого, что за ним
вселенная и та за край запала.
Дубль сорок? Торфа нету? Мы стоим
на стрелке гоноропульского вала.

XIX

О чем еще? Да мало ли чего
в архиве не полезет из-под спуда!
Вот николаевский регламент о
пехотной амуниции. Покуда
мы дела ждем, чего ж не посмотреть?
так, ерунда как будто? Да. Как будто...
Предписывается ношенье впредь
армейских сабель. Годовщина бунта.
Ну что ж? Чекань червонца медный шаг —
прозеленев, провалится середка
и впредь побед не будет. Вместо шпаг
на брюхе полицейская "селедка".
...Еще? О тех зачеркиваниях
фигурных — с удивлением заметим,
подмигивают на черновиках
в 27-м и даже в 33-м.
Обыкновенный ромб. Бубновый туз.
В нем слово, и штриховка как-то сбоку,
как будто нервный тик — такой конфуз
пера... не странно ли? Но что в нем проку?..
А поутру приходишь на раскоп —
торчишь над ямой... — это ж ямы! Помнит
семь лет, — и потому такой озноб —
зачеркивает слово и хоронит
по-христиански — каждое в своей
разверстой, но не братской, а отдельной,
и челноки при видимости всей
прекраснодушия — сюжет смертельный!..

В тени у Черной речи эти рвы.
Мы жили близко. В стужу в 41-м
забрел сюда отец. Во рвах мертвы
лежали ленинградцы. Кто-то в сером
снегу привстал... Такое увидать
мальчишкою? Он бросился к саперу —
там люди!.. Мог ли Пушкин это знать?
Неужто же ему и это впору?

XX

Давайте о хорошем наконец.
Мы о любви? Не значит ли, что надо
мерцанье обручальное колец
внести в сентябрьский сумрак Ленинграда?
Размыкав перевоплощений пыл,
начнем ли задушевную беседу

о том, что автор все-таки добыл
свою, пусть очень личную победу.
Виктория! Но этот римский стиль
высокопарен. Греки скажут Ника.
Оно милее. Волны смолкли. Штиль
сегодня на прибрежьи. Погляди-ка —
челнок заходит... ну и паруса —
тряпье да рвань. А эта течь на правом?
Здесь работенки не на полчаса.
Греби, греби. На берегу поправим.
Корабль вступает в гавань. Что сие
обозначает? Вероятно, свадьба?
Но и в сюжете не было... Мое —
и точка. А читателю узнать бы
не худо — намекните, кто на ком?
Ну, скажем, замысел на воплощенье.
Смеетесь? Нет. Расскажете? Потом.
Не переставить с тризны угощенье
на праздничный, хотя и тесный стол
того, кто вылез из избы угарной,
тонул, но берег все-таки обрел,
себя сверяя по звезде Полярной.

XXI

Концы с концами не соединив,
начнем ли за невнятность извиняться?
Стишки в корзину, автора в архив, —
но место на Уральской — 19

запомните. Став этою землей,
по истеченьи смертного ареста
они войдут. Не все ль равно — волной,
людьми ли перерыто это место,

где сквозняками неземных полян
гонимый клипер мечется, рыдая,
где остров Серный — Сельдяной Буян —
у взморья на прибрежьи Голодая

мы, россияне всяк своих веков,
сойдемся здесь у берега иного.
Ведь есть пророчество... Вот перевод стихов
Апостола Сергея Муравьева

с французского:

Земным путем сойти до срока,
Медлительно и одиноко,

Не узнанным при свете дня,
Но там, где небо тьмой одето,
В конце пути — по вспышке света
826 Вы опознаете меня.

1987-1988

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОСТРОВУ

Пойдем от скорбного ахматовского прозрения: Пушкин приходил на тайную могилу казненных декабристов. Этот факт, не запечатленный ни в воспоминаниях современников, ни (по счастью) в документах Третьего отделения, был подтвержден исследованием Г.А.Невелева ("Истина сильнее царя", М., 1985). История поиска захоронения повешенных на кронверке "внеразрядников" начинается с лета 1826 года. Документально подтверждено, что вдова Рылеева знала место на Голодае. Летом 1917-го при прокладке водопроводных труб близ Голодаевского переулка (сейчас это проспект КИМа) был обнаружен гроб с прахом военного николаевского времени. Об этом сообщал петроградский журнал "Огонек" №23. Однако эполеты и мундирная пуговица более поздней, недекабристской эпохи, позволили экспертам утверждать: найденный — никак не декабрист. И хотя поиск в этом месте был продолжен в 1926 г., результатов он не дал: обнаруженные поблизости обломки других гробов, как выяснилось много позже, находились на территории существовавшего здесь до 1870-х кладбища самоубийц.

Новые материалы — пушкинские пейзажи островка Гоноропуло (северная часть Голодая), пушкинская запись в тетради ПД 833 и топографический план на одном из стихотворных черновиков, возволили определить, где именно была тайная могила Кондратия Рылеева, Павла Пестеля, Михаила Бестужева-Рюмина, Сергея Муравьева-Апостола и Петра Каховского.

Мы можем верить точности пушкинского указания. Когда по его же рисунку виселицы на кронверкском валу в 1975 г. стали готовить площадку для обелиска, рабочие обнаружили основания четырех спиленных столбов, — все, что осталось от эшафота.

Документально точны и зарисовки в рабочих тетрадях поэта: их подробности подтвердились планом Петербурга Ф.Шуберта (1822-1828 г.г.), скупыми строками мемуаристов и, наконец, исследованием на местности. Бурением и анализом грунта установлено, что в точке, указанной поэтом, в XIX веке было братское захоронение. Медицинская экспертиза, прове-

денная в ЛГУ, и выводы криминалистов ВНИИ МВД поставили точку в нашем исследовании. (Подробнее см. "Огонек" 23 и 35 за 1987, 6 и 38 за 1988, 4 за 1989.)

В путеводителе автор указывает только номер начального стиха каждого, требующего пояснения фрагмента.

1 – поверх пушкинских рисунков декабристской могилы в тетради стихи о том, как гуляли после работы палачи; рядом – рецепт от гонореи, в котором не проставлена дозировка. Непонимание пушкинского шифра обернулось посмертной сплетней.

45 – запись по-французски разбавленными донельзя чернилами "14 июля 1826 Гонор/опуло/ в той же тетради, где "Арион". Фамилия владельцев островка была Гоноропуло, но писалась по-разному: Гонаропуло, Гуноропуло и т.д. На плане Ленинграда 1925 г. читаем: "Территория бывшего острова Гоноропуло". Вспомним знаменитые слова Карамзина о том, что честный человек не должен подвергать себя повешению. Пушкин спорит с Карамзиным, ведь Гонор – древнеримский бог чести. Так что у "симпатической" записи времени и места погребения казенных – еще и такой смысл: честь.

71 - см. "Воспоминания М.А.Гунаропуло" ("Русская старина", 1917, №3, с. 360.)

99 - дату пушкинского посещения островка с греческим именем мы установили по "Ариону". Он датирован так: "16 июля / 7". 16 июля 1827 года поэт написал стихи о декабристах и грозе. Считалось, что гроза – аллегория 14 декабря. Добавим, накануне, 15 июля, действительно была гроза. Она началась в полдень. Все это подтверждает предположение Ахматовой о пушкинском посещении Голодая на челноке. Читаем в стихах 1830 г. (с рисунком челнока и устья гоноропуловского рва): "Сюда погода волновая Заносит утлый мой челнок..."

203 - письмо С.А.Соболевскому написано утром 15 июля 1827 г.

324 - выражение Андрея Платонова из его записной книжки.

325 - царь сам расписал обряд казни и обряд "очищения" Сенатской площади 14 июля 1826 г. Подробности из приказа Дибича.

350 - дощечки с именами на виселице в последний момент заменены нагрудниками из черной кожи с надписью "Цареубийца".

386 - повесть "Уединенный домик на Васильевском", записанная В.Титовым со слов Пушкина, опубликована в "Северных цветах на 1829". Первую ее страницу составляет (по догадке Ахматовой) устный путеводитель к могиле казенных: "Кому случалось гулять кругом Васильевского острова, тот, без сомнения заметил... и т.д." Путеводитель при сопоставлении с планом Ф.Шуберта приводит точно к островку Гунаропуло.

440 - сравни с мемуарами начальника охранки: "Полиция отдала распоряжение не отдавать трупов родственникам. Публичные похороны не были разрешены. В полной тайне, ночью, убитые были преданы погребенью". Это уже о 9-м января 1905 г. (А.Герасимов. На лезвии с террористами. Париж, 1985, с. 27-28.)

444 - похороны члена Северного Общества подпоручика К.П.Чернова стали первой в России политической манифестацией. На месте его дуэли с флигель-адъютантом Александра I Владимиром Новосильцевым в Лесном осенью 1988 установлен памятник.

460 - ахматовская догадка, позже воплощенная в статье "Пушкин и Невское взморье", очевидно, связана с ее поисками могилы Николая Гумилева. Голодай – одна из версий и этого захоронения.

495 - Е.А.Гунаропуло – сослуживец А.Бестужева-Марлинского, сосед Рылеева (дома были у Синего моста), адъютант главного следователя по делу декабристов военного министра Татищева. Мыза Гунаропуло была на Голодае, в ста метрах от островка Гунаропуло. По "Указанию жилищ..." С.Аллера за 1822 г. Гунаропуло – единственный домовладелец-дворянин на всем Голодае.

512 - Дершау – полковник, василеостровский полицмейстер, руководивший захоронением казненных декабристов.

544 - неточность, хотя Егор Гунаропуло действительно дрался и под Дрезденом.

568 - кронштадский футшток установлен Петром I. Это уровень Мирового океана, нулевая отметка для Невы.

570 - на Голодае генерал-майор Федор Шуберт работал в 1826–1827 годах. На своем уникальном плане он зафиксировал "остров Гунаропуло", стрелку вала, ров, "Избушку Рыбаков" на последней голодаевской возвышенности. План Шуберта позволил с точностью до нескольких метров зафиксировать точку, указанную рисунками Пушкина. Перенесением ее на современную карту занимались военные топографы ленинградского училища, основанного тем же Шубертом.

547 - см. заметку "Со слов присутствовавшего по службе при казни" в ПСС К.Ф.Рылеева (М., 1907, т. 2, с. 19).

615 - ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом), Всесоюзный институт геологических исследований, ленинградский трест геологических разысканий.

670 - в этой тетради на листе 95/2 под строкой наброска стихотворения "Длятся ночи декабря..." стоит восклицательный знак. Ниже рисунок – вал, ров, мостик к избушке рыбаков на "последней возвышенности". Избушка и впрямь рыбацкая – с ваймовой кровлей и навесом. Сделанная ленинградским архитектором П.С.Прохоровым топографическая экспертиза подтвердила идентичность места с фрагментом плана Шуберта.

712 - С.А.Фомичев – сотрудник Пушкинского Дома.

742 - "...во всех Гвардейских пехотных полках вместо шпаг, ныне употребляемых, носить пехотные сабли". (Приказ от 12 декабря 1826 г.)

753 - ранее эти графические знаки исследователями не объяснялись.

768 - речка Смоленка, отделяющая Голодай от Васильевского, до XX века звалась Черной. В блокаду рвы для умерших от голода прокладывались взрывчаткой. Такие рвы частично сохранились у Смоленки, частично застроены жилыми домами.

810 - см. стихи Ахматовой "Приморский Парк Победы". Сельдяной Буян (сельдяная таможня) разрушен 7 ноября 1824 года. Ныне это остров Серный у северного берега острова Декабристов (бывшего Голодая).

Георгий Ефремов

ВОЛЯ
(заметки на скорую руку)

Как объяснить тебе, что это, может статься,
Уж не любовь, а смерть стучится мне в окно.
И предстоит навеки рассчитаться
Со всем, что я любил, и с жизнью заодно.

Но если я умру, то с ощущеньем воли.
И все крупицы моего труда
Вдруг соберутся. Так в магнитном поле
Располагается железная руда.

И по расположенью желтой пыли –
Иначе как себя изображу? –
Ты устремленность всех моих усилий
Вдруг прочитаешь, как по чертежу.

Это стихотворение написано в 1963 году человеком, уже одолевшим *второй перевал*. Поздняя цена – истинная цена – наблюдений и признаний той поры высока и неизменна. Черты поэта не затуманены ничем. Доверительность, нацеленность на ответное, встречное чувство, стремление прояснить смысл и

ход происходящего выявлены в *обычных словах,* освоенных и прославленных Давидом Самойловым.

Неотличимость, изначальная слитность любви и смерти ("Любовь и смерть всегда вдвоем", – когда-то отметил А.Кочетков) утверждается в первой строфе, в соседстве со словами о расчете "со всем, что ...любил", а жизнь волевым усилием вовлекается в этот круг любви и смертности. Расчет с жизнью, приобщение к таинству гибели означает чуть ли не торжество любви... Неприятие радости, принижение гармонии? Нет, скорее: отвержение беспечности. Во второй строфе изумительно это "...*если* я умру", предполагающее возможность бессмертия, постоянного развития драмы (много позже появятся строки: "Смерть. Вы знаете, что это? Не конец, не беда: остановка сюжета навсегда, навсегда...").

Самойлову свойственно редкое чувство уместности. Я не буду тут говорить о его композиционном даровании, оно неоспоримо. Говорю об отношении к смерти – организующему *началу*, проявлению высшей и справедливой воли. Ее неотвязная опека – формирует судьбу, придает жизненному сюжету жесткость, простоту и прочность. Придает бытовому существованию черты магического искусства. А сама гибель, уход за черту, – ставят преграду жизненному току, который и принято называть отдельной судьбой. Там, за этой запрудой (*засекой, заставой,* разделяющей и объединяющей всех нас) начинается общее время, осуществляется слияние разных жизней в единую эпоху.

------ ------- -------

В 1981 году я привез Давида Самойлова на улицу Марлевского, к *старенькой маме*. Цецилия Израилевна жаловалась на болезни, слабость, одиночество, говорила о скорой смерти. Потом одернула себя: "Что же это я? Не мне одной умирать! Все естественно".

Давид вымученно улыбнулся:

– Естественно-то естественно... А все равно гнусно.

Человек, прикасаясь к вечности, содрогается. У поэта откуда-то берутся слова о *прекрасном празднике погребенья*, когда он будет "горд и счастлив в этот миг переселенья в землю..."

К постиженью, усвоению счастья Давид возвращался многократно – в стихах, и в статьях, и в застольных разговорах. При имени Блока с готовностью вспоминал: "Кто это выдумал, будто человек непременно должен быть счастлив?"

Помню, как однажды Давид утешал меня, огорченного тем, что не печатают, а если печатают, то мало, редко и обязательно с искажениями. Тогда, в середине семидесятых, Самойлов сказал:

– Ты почему-то убежден, что *они* обязаны тебя любить. Мы же *их* ненавидим и презираем, вот они и отвечают нам взаимностью...

И привел случай с Петром, своим средним сыном. Петя, разобидевшись на родительские строгости, сквозь плач провозгласил:

– Этого мальчика надо любить!

Давид со смехом отметил:

– Позиция и трагедия Жени Евтушенко! Что бы ни случилось, как бы ни повернулось: этого мальчика надо любить – и все тут!

Сколько мог, Самойлов остерегал от подобных притязаний. Он, выдавший мне много ценнейших рекомендаций, когда я в 1969 году ехал в Литву учиться, предупреждал позже, спустя лет десять:

– Смотри не растранжирь приязнь, с которой литовцы относятся к твоему делу.

Речь шла о стихотворных переводах с литовского. В свое время Давид привлек меня к этой работе и потом ревниво следил за многими моими метаниями.

В 1985 году он впервые на людях прочитал стихотворение "Люблю тебя, Литва..." Это было в Вильнюсе, во время очередной конференции переводчиков и издателей литовской литературы. Странными, даже необъяснимыми казались тогда слова:

"Не уходи, Литва! Ведь без тебя так пусто".

Уже через три с небольшим года эти строки наполнились очевидной и неизбежной болью.

Заклиная Литву не уходить, Самойлов одолевает естественное, но глубоко и умело таимое одиночество. Единственность, обособленность человека, страны, звезды, дерева – ощущается многими, почти каждым. У Самойлова это страдание

прорывалось нечасто, но, прорвавшись, звучало отчетливо и чисто:

Красота пустынной рощи
И ноябрьский слабый свет –
Ничего на свете проще
И мучительнее нет.

Это ощущение слабости, уязвимости всего на свете легче было нести и пересиливать вдали от исполинского города, сложившегося к середине или к концу шестидесятых и забывшего, и заставляющего забыть о естественности своего давнего происхождения... Не вижу Давида столичным жителем. Обитателем пригорода, гражданином зеленого пешеходного городка, но только не ратником подвижной толпы, не пассажиром метро или трамвая.

Самойлов – самое раннее воспоминание моего детства. Воспоминание не московское. Мои молодые родители снимали дачу на Клязьме, а Самойловы жили на следующей от Москвы станции – в Мамонтовке.

Еще картинка – дом в Опалихе, где Давид с новой семьей прожил почти десять лет. Анатолий Якобсон писал из Израиля, что ему снятся бревна опалихинского дома. Думаю, всем нам они время от времени снятся.

Обстоятельства на короткий срок вытолкнули Самойловых в Москву.

Последним жильем на земле – и спасением – стал для Давида дом в Пярну. Все, что можно сказать об этом городе, улице, деревьях в окне, – сказано и прочитано или будет прочитано.

За полгода до февраля 90-го Давид по телефону разыскал меня в Вильнюсе и высказал идею: собраться трем русским литераторам из балтийских республик (Самойлову, Абызову и мне) и наговорить на магнитофон все, что мы сочтем необходимым. Материал этот поначалу предназначался для "Огонька", но Олег Хлебников, после появления в "Московских новостях" статьи Самойлова "Компромисс", отклонил саму возможность опубликования "тройственной" беседы. В конце января Давид сказал мне, тоже по телефону:

– Мы должны собраться и выговориться, скоро станет поздно.

Не успели.

Успел выйти сборник "Весть" – издание, о котором мечтали многие из нас, поверивших в победу свободного книгопечатания и еще в 86-м начавших двигаться в этом направлении. Сегодня узаконенная "Весть" готовит к выпуску книжку "В кругу себя", долго существовавшую в двух экземплярах. Это собрание самойловских поэтических и прозаических шалостей.

Шалить Давид любил и умел. Когда я работал у него литературным секретарем, меня изумляла и приводила в восторг его способность переключаться с анализа, скажем, русской рифмы на письмо с требованием немедленно прислать книгу М.Пруста, переведенную адресатом – Н.Любимовым:

Коля, Пруста дай прочесть!
Окажи такую честь!
Даже бабы, будь им пусто,
День и ночь читают Пруста.
Только ляжешь к ней в постель –
Глядь, а там уже Марсель!

Невзгоды, болезни, видимо, лишь обостряли это "веселое" зрение. Даже когда Самойлов почти ослеп и лег в глазную больницу ждать операции, первыми словами, которые он произнес в приемном покое, были: "Девицы без роговицы!" Юрий Левитанский вскоре поправил друга: *отроковицы* без роговицы. Давид с бурной радостью принял тонкую поправку.

На моих глазах Давид горячо, даже судорожно, приближал людей самого разного достоинства, – и, охладев, отталкивал их от себя, иногда совершенно безжалостно. Не многие выдерживают качку на таких волнах.

В последние годы остыла наша переписка. Давид, наверное, все или почти все понял во мне – и, естественно, острота интереса к общению со мной прошла, исчерпалась. Общался Давид чрезвычайно интенсивно, тут скидок никаких и никому не было. Случалось ему, конечно, ошибаться в выборе, но, как правило, это были ошибки "в лучшую сторону"...

Хотел написать: Самойлов не любил быта и присущих ему мелких и крупных хлопот. Но вспомнилось, с каким удовольствием Давид кашеварил, топил печь и таскал дрова, и прихо-

дится уточнять. Самойлов избегал суеты, свирепствовавшеи *за* пределами его домашней и писательской жизни. Просить – и за себя, и за других – ему было трудно, почти невыносимо. Я замечал, как раздражали Давида те, кто упорно добивался своего: требовал или неотступно просил о заступничестве, протекции... "Спасибо тем, кто нам мешал", – это определение жесткой, стойкой позиции.

"У меня совсем мало принципов, но ради тех, что есть, я готов на многое". Эти слова Давид произнес в каком-то "эйнелауде", пярнусском буфете, кофейне, где мы сидели, попивая коньяк и глядя сквозь приотворенную дверь на расхристанный ноябрьский парк, прижавшийся к самому морю...

И еще было сказано:

"Мы, наверное, потому так скорбим о погибших поэтах, что нам представляется: не случись беда, они бы могли жить вечно".

ПУШКИН:

— ...можно описывать разбойников и убийц, даже не имея целию объяснить, сколь непохвально это ремесло — а быть, между тем, добрым и честным человеком; что живые картины наслаждений простительны 20-летнему поэту, что, вероятно, семейство его, читая его стихи, не станет разделять ужас газет и видеть в нем изверга, что, одним словом, поэзия — вымысел и ничего с прозаической истиной жизни общего не имеет. Слава Богу! давно бы так, м. г. Не странно ли в XIX веке воскрешать чопорность и лицемерие, осмеянные некогда Молиером, и обходиться с публикою, как взрослые люди обходятся с детьми, не дозволять ей читать книги, которыми сами наслаждаетесь, и впопад и невпопад ко всякой всячине приклеивать нравоучение. Публике это смешно, и она своим опекунам уж верно спасибо не скажет.

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

Пушкин — настолько универсальное, вселенское для России явление, что каждый у него берет и способен взять все, что ему вздумается.

Этим обстоятельством всегда пользовалось наше начальство, обращая Пушкина в своего угрюмого стража, в прилежного вертухая.

Сегодня Пушкин в опасности: к нему с особенным усердием приклеивают патриотические ярлыки, поскольку Пушкин действительно, как все уверяют друг друга, "наша национальная гордость", и это сделалось общим местом бесчисленных по его адресу излияний. Но, честное слово, он в этом не виноват.

Повторите в тысячный раз избитую истину и вместо Пушкина вы получите очередное пугало.

Рубрика "Свободу Пушкину!" вводится в нашем журнале с тем, чтобы, подразнив гусей, напомнить о другом Пушкине — вечно юном, смеющемся гении русской культуры. С тем, чтобы избавить себя от назидательной тюрьмы, от казенных догм, от банальностей и стандартов.

ПУШКИН:

— Катенин, напротив того, приезжает к ней /*к поэзии — см. стр. 190*/ в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговеньем и важностью.

Андрей Битов

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

Полтораста лет мы перемываем Пушкину кости, полагая, что возводим ему памятник по его же проекту. Выходит, он же преподносит нам единственный опыт загробного существования. По Пушкину можно судить — мы ему доверяем.

Рассчитываясь с ним, мы отвели ему первое место во всем том, чему не просоответствовали сами. Он не только первый наш поэт, но и первый прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лицеист, лингвист, спортсмен, любовник, друг... В этом же ряду Пушкин — первый наш невыездной.

Тема "Пушкин и заграница" достаточно обширна, но и

очевидна, чтобы долгим текстом отнимать здесь площадь у свободного рисунка. Достаточно сказать, что Пушкин много раз *хотел* за границу и столько же раз его не пустили.

Еще в 20-м году молодой Тютчев живо обсуждает с Погодиным слух о том, что Пушкин сбежал в Грецию. Это и тогда было неудивительно.

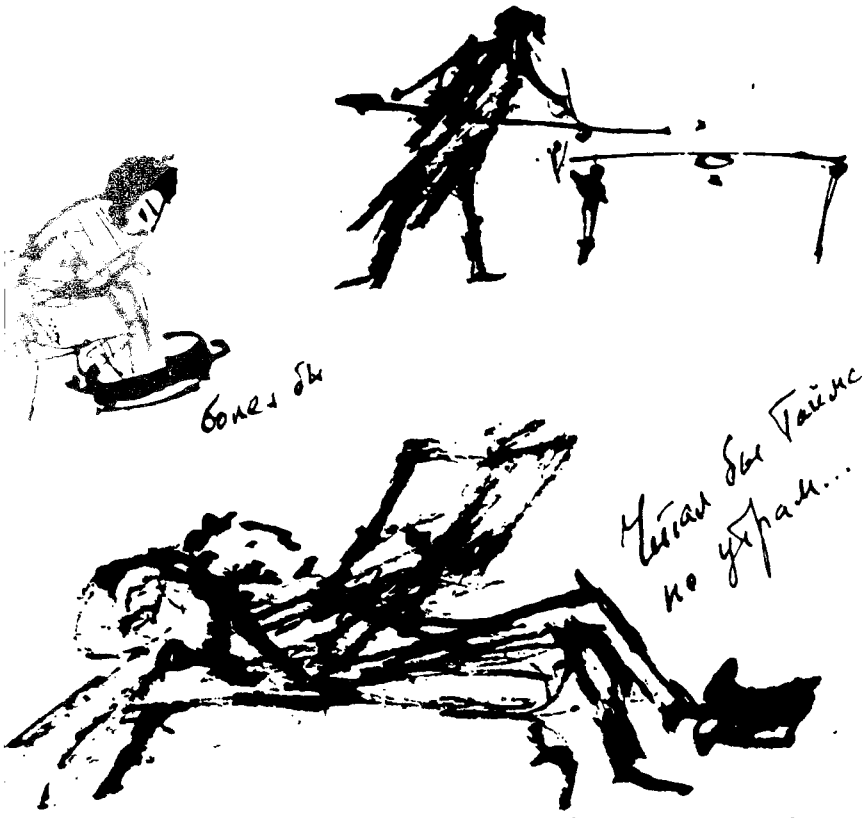
В 1824-м, уже в Михайловском, Пушкин пробует и так и сяк переменить участь, изобретает себе "аневризм", который лечат лишь в Германии. Получив окончательный отказ, болезнь тут же проходит. Желание не проходит.

"Плетнев поручил мне сказать тебе, что он думает, что Пушкин хочет иметь пятнадцать тысяч, чтобы иметь способы бежать *с ними в Америку или Грецию. Следственно, не надо их доставать ему".* (А.А. Воейкова — В.А. Жуковскому)

Желание увидеть Европу перерастает в страсть хотя бы пересечь границу. Ему уже равно, что в Париж, что в Китай.

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем...

Но и в Китай не пустили.



Как всякий дворянин он может покинуть Россию, но царь будет "огорчен". Огорчение это дорогого стоит...

Пушкин отправляется в "самоволку" — Грузия единственная доступная в России заграница.

"Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасно. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. – Вот и Арпачай, – сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я по-

том жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России".

Удивительным образом фантазия авантюрного побега каждый раз совпадает с творческим кризисом, предшествующим творческому же взрыву. Не вышло уехать, и — "Годунов"! Не вышло еще раз, и — Болдинская осень...

"Европеец" Брюллов:

"Вскоре после моего возвращения в Петербург, вечером, ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе,

не хотел идти и долго отнекивался, но он меня переупрямил и утащил с собою. Дети его уже спали. Он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья. Я не утерпел и спросил его: "на кой чорт ты женился?" Он мне отвечал: "Я хотел ехать за границу, а меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился".

А вот французский литератор, гостивший в Петербурге летом 1836-го:

"Пушкин никогда не бывал за границей... В разговоре с каким страданием во взгляде упоминал он о Лондоне и, в особенности, о Париже! С каким жаром отзывался он об удоволь-

ствии посещать знаменитых людей, великих ораторов, великих писателей!"

Причем пишется это уже в некрологе Пушкина, в том самом Париже, в Journal de Débats.

Невыносимо!

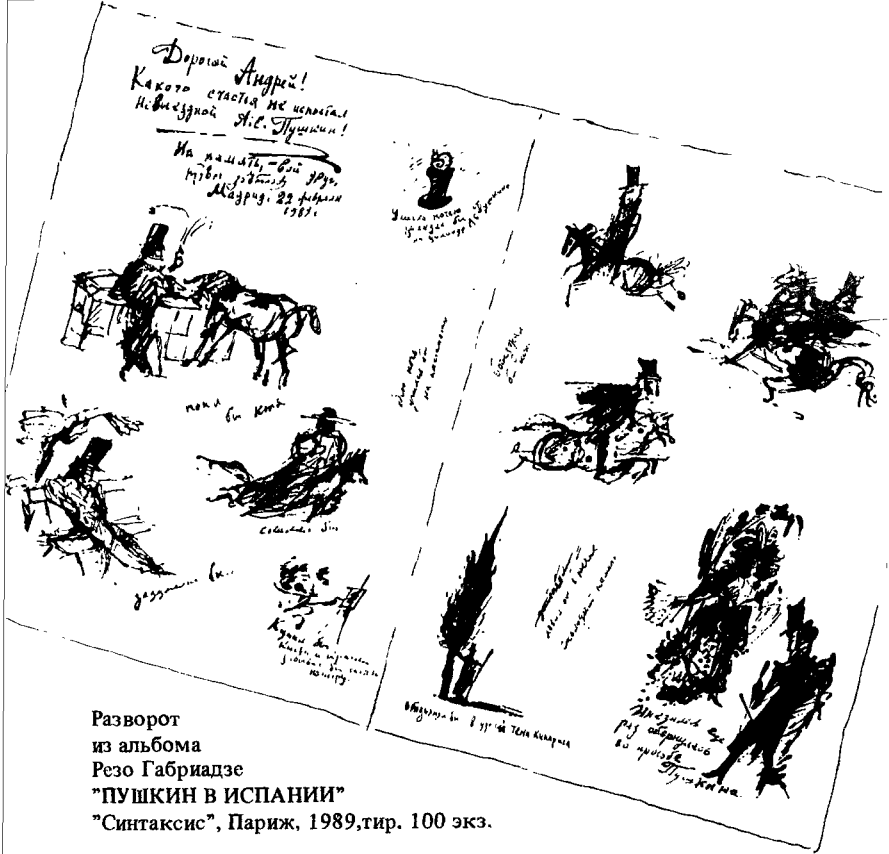
Мы часто, не академически, а по-человечески, думаем, что было бы, если бы Пушкин не погиб в 37-м...

Что бы он написал?..

Как шла бы российская жизнь дальше, если бы в ней хотя бы присутствовал Александр Сергеевич? А здоровья в нем было лет на девяносто, до конца века.

Что было бы, если бы...

Если бы Пушкин увидел Париж и Рим, Лондон и Вену... Что было бы, если бы и *они* увидели его?



Разворот
из альбома
Резо Габриадзе
"ПУШКИН В ИСПАНИИ"
"Синтаксис", Париж, 1989,тир. 100 экз.

"Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то возводя их в потолок. Разговоры его с Дету, с Корнелем и Декартом не были б пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека".

Что было бы, если бы...

Хорошо бы было.

Я попросил Резо Габриадзе выдать Пушкину визу. Он сделал это тут же и без промедления.

22 апреля 1989, Париж

КАК ЭТО БЫЛО...

(Хроника, записанная пожелавшим остаться неизвестным М.КУРАЕВЫМ.)

Москва. 7 ноября. Сталин и Берия стояли на трибуне мавзолея.

– Смотри, смотри, вон идет Ольга-плакса! – говорит Сталин Берии и показывает рукой.

– Вижу, вижу, вон шапка с белым помпончиком, – озорно сверкнул пенсне Берия, – она у нас так и проходит как "Ольга-Плакса".

Кунцево. Под Москвой. Приехал товарищ Берия к товарищу Сталину и видит: сидит товарищ Сталин высоко на березе в мягких кавказских сапогах и что-то делает.

– Давайте я вам помогу, – просто предложил товарищ Берия.

– Нэ надо, – донесся сверху чуть глуховатый голос вождя.

– А что вы там делаете? – улыбнулся товарищ Берия.

– Дэти генерала Власика змэя пускали... Зацепился... Сниму, Ольге подарю.

Сорвавшийся от неловкого движения вождя лист березы покружился в прозрачной синеве вечернего неба и упал на матерчатый козырек фуражки товарища Берии.

Москва. Стали замечать, что у подъезда одного дома появляется мотоцикл. Доложили. Получили указание. Стали наблюдать. Тот, что приезжал на мотоцикле, оставлял мотоцикл у подъезда, а сам шел в олину квартиру. Доложили.

Вскоре, по вечерам, то товарищ Сталин, то товарищ Берия стали под окнами у Ольги проезжать на мотоцикле.

А оказалось, что тот, что на мотоцикле приезжал, приезжал к олиной сестре, а олин друг к ней на трехколесном велосипеде.

Москва. Кремль. Встречает Сталин Берию, смотрит на него и не узнает:

– Что ты такой? – спрашивает товарищ Сталин Берию с мягким кавказским акцентом.

– В Ольгу влюбился, – говорит Берия и отводит глаза в сторону Сенатской башни.

– И я тоже, – лукаво улыбнулся в усы Сталин.

– Давайте ей письмо напишем, товарищ Сталин, а?

– Не ответит, – подумав, сказал Сталин и неторопливо закурил трубку.

– Пожалуй, не ответит, – согласился Берия.

Писать не стали. Ольга еще не умела читать.

Москва. Кремль. В мягких кавказских сапогах товарищ Сталин неторопливо шел по Кремлю, вдруг видит: сидит Берия и плачет.

– Почэму у нас плачет товарищ Берия? – спросил товарищ Сталин и лукавые искорки сверкнули в уголках добрых тигриных глаз.

– Ольга коленку разбила, – сквозь слезы доложил товарищ Берия, вставая с газона и вытирая фуражкой лицо.

– И это большевик, и это наркомвнудел... – пожурил товарищ Сталин. – Когда она разбила нос, мне доложили, я не позволил себэ плакать!

– Вы сильный, товарищ Сталин, а мне как такое доложат... – не договорил, снял пенсне и смахнул что-то невидимое у глаз.

Москва. Бутырский вал. Стали замечать, что мимо Н-ского детского сада, что на Бутырском валу, хоть раз в неделю, но обязательно стали проезжать на трамвае номер 37 товарищи Сталин и Берия.

Товарищ Сталин в мягких кавказских сапогах и с гнутой трубкой во рту, как правило, замыкал гроздь висевших на

задней площадке прицепного вагона, Берия, поблескивая пенсне, проезжал на колбасе.

— Смотри, смотри, — говорили нянечки Оле, — это они перед тобой выставляются.

А Оля, отложив совок и лопатку, смотрела на трехтонку с охраной и пустой "бьюик", мягко катившие чуть поодаль трамвая.

Москва. Кремль. На Политбюро слушали Олю.

Товарищ Сталин в мягких кавказских сапогах ходил вдоль длинного стола заседаний, изредка поднося к губам дымящуюся трубку.

Берия заводил ручку. Ворошилов ставил мембрану на пластинку.

Приятным баском Ольга пела "Марш энтузиастов".

— Товарищ Поскребышев, соедините меня с товарищем Берией, — попросил товарищ Сталин.

— Слушаю вас, товарищ Сталин, — раздался из телефонной трубки знакомый голос.

— Скажите, товарищ Берия, — с мягким кавказским акцентом поинтересовался товарищ Сталин: подготовил ли товарищ Михалков стихи на день рождения Ольги?

— Отказывается, товарищ Сталин, я с ним каждый день говорю, товарищи наши говорили...

— А вы включили товарища Михалкова в список лауреатов Сталинской премии на этот год?

— Никак нет, товарищ Сталин.

— Ну, вот видите. Включите, а потом уже обращайтесь с такими просьбами.

— Слушаюсь, товарищ Сталин. Сейчас товарищ Аввакумов список подработает и я внесу, обязательно внесу.

Через два месяца стихи были готовы.

Москва. Кремль. Встречает товарищ Сталин около Царь-пушки Берию и говорит:

— Вы знаете, товарищ Берия, что Оля пьет?

— Нет, товарищ Сталин, первый раз слышу. — Обычно круглое лицо товарища Берии вытянулось и стало видно, как он постарел.

Товарищ Сталин посмотрел на него лукаво, спрятал усмешку в тронутые желтизной усы и сказал:

– Вот вы нэ знаете, что Оля пьет, а я знаю. Она молоко пьет, – и пошел дальше, а Берия вернулся к себе на работу и долго еще улыбался, вспоминая шутку вождя.

Москва. Сандуны. Пришел Берия в баню, смотрит, куда бы ему с шаечкой пристроиться, а мест свободных нет, только рядом с товарищем Сталиным. Поздоровался, моются рядом.

Сначала Берия товарищу Сталину спину потер, потом товарищ Сталин Берии, под душем сполоснулись. В раздевалке ситро заказали, каждому по бутылке. Выпили. И только когда одевались, спросил товарищ Сталин товарища Берию:

– Ольгу давно видели?

– Давно, товарищ Сталин.

– Я тоже давно.

Поздравили друг друга с "легким паром" и пошли по домам чай пить.

Встречает Сталин Берию и говорит:

– Что вы дарите Ольге на день рождения, товарищ Берия?

– А меня и не позвали, товарищ Сталин.

– Ну ладно, будь дома, я с ней поговорю, – пройдя несколько раз вдоль стола заседаний, сказал товарищ Сталин.

– А у меня и подарка нет, – сказал Берия.

– Албанию подарите, это будет от вас, а я Китай дарю.

Кавказ. Озеро Рица. Прилетел к товарищу Сталину на дачу его друг товарищ Берия, встречает его товарищ Сталин и спрашивает:

– Ну что Ольга, как она?

– В каком смысле? – не понял товарищ Берия.

– Ну слышно-то что? – помогая товарищу Берии сойти с трапа, поинтересовался товарищ Сталин.

– А-а... В этом смысле... – сказал Берия и поправил пенсне, – да говорят в школу пошла.

– В школу разведчиков? – лукаво улыбнулся товарищ Сталин.

– Да нет, товарищ Сталин, – сказал Берия, – пока что только в первый класс, – и окончательно сошел с трапа.

Кавказ. Озеро Рица. Поспорили Сталин с Берией, кто из них больше Ольгу любит.

– Я ради Ольги жизни своей не пожалею, – сказал Берия.

Товарищ Сталин неторопливо срезал три розы и передал генералу Власику, после чего твердо сказал:

– А я бы ради Ольги не только вашей жизни, но и жизни товарища Ворошилова не пожалел, – и в глазах его сверкнула хорошая тигриная лукавинка.

Постановление Совета Народных Комиссаров.
Слушали: закрытый доклад тов. Сталина И.В.
Постановили:
№ 1. К строительству канала "МОСКВА – ОЛЬГА" приступить немедленно.
2. Строительство поручить Народному комиссариату внутренних дел. Ответственный тов. Берия Л.П.
3. Не позднее 5 ноября 1938 года канал ввести в строй и начать его регулярную эксплуатацию.

Пред Совнаркома
И. Сталин.

Сидел товарищ Сталин и пил чай с Берией.

Смотрит товарищ Сталин, Берия к вазочке тянется и берет всякий раз не одну конфету, а сразу две, одну сам ест, а другую незаметно в карман прячет. Хотел товарищ Сталин сделать ему замечание или словно невзначай ударить по руке трубкой, а потом подумал: "это он для Оли, конечно", и только усмехнулся себе в усы.

Встречает товарищ Сталин в коридоре Берию и спрашивает:

– Не знаете ли вы, удалось ли Ольге исправить четверку по чистописанию?

Берия как-то весь вытянулся, даже постарел на глазах, и, зная любовь вождя к правде, со страхом сказал:

– Я не готов ответить на ваш вопрос, товарищ Сталин.

– А что об этом думает ваш аппарат? – жестко спросил Сталин.

– Разрешите, я схожу и узнаю? – попросил Берия.

– Пожалуйста, подготовьте ответ и доложите послезавтра к вечеру.

Наступает послезавтра, и Берия докладывает.

– Товарищ Сталин, а преподаватель чистописания оказался из право-троцкистского запасного центра.

– Я так и думал, – сказал товарищ Сталин, поднося к усам гнутую дымящуюся ароматом трубку. – Надо следить за кадрами, товарищ Берия. Внимательно следить. Больше таких ошибок не будет! – и помолчав, тихо, но твердо добавил: У Ольги не должно быть чэтверок... Нэ должно... Это нэ правильно. Вас нэ поймут.

Москва. Бульварное кольцо. Узнал товарищ Сталин откуда-то, что Оля после школы домой через Никитские ворота ходит. Время рассчитал, все прикинул, купил цветов и прохаживается под самыми Никитскими воротами, ждет.

А товарищ Берия откуда-то про это узнал и свою охрану так расставил, что пришлось Оле после школы идти домой через Скатертный переулок и Патриаршие пруды.

Так напрасно и простоял товарищ Сталин целый час сорок минут под Никитскими воротами, чего только за это время не передумал. А в конце, прежде чем уехать, велел Никитские ворота срыть совершенно, чтобы никто другой не мог около них больше уже никогда ждать Олю.

Москва. Кунцево. Едет с работы товарищ Берия поздно вечером, видит в окне дачи товарища Сталина огонек горит, зашел, и видит: сидит за пустым обеденным столом товарищ Сталин в мягких кавказских сапогах и плачет.

– Оля обидела? – догадался товарищ Берия.

– Уже доложили? – чуть слышно с обидой сказал товарищ Сталин и смахнул что-то невидимое с кончиков усов. – Жадным назвала... Я же ей Китай подарил, а она... а она... говорит, жадный... Бухару хочет. А я Бухару еще в Тигеране англичанам пообещал... И слышать ничего не хочет...

Поцеловал Берия товарища Сталина в редеющие волосы на макушке и тихонько вышел из кабинета на цыпочках.

Закончил товарищ Сталин обдумывать сталинский план преобразования природы и подошел с гнутой трубкой в руках

к окну. Видит товарищ Сталин, как на главной площади Кремля учится кататься на самокате товарищ Берия. По бокам бегут два полковника, а сзади один генерал на случай, если полковники оплошают и во время падения не словят. "Хитрый мингрел!" – усмехнулся товарищ Сталин и вызвал товарища Поскребышева.

– Прикажите, товарищ Поскребышев, коменданту московского кремля товарищу Москаленко запретить езду на самокатах по Кремлю.

И вскоре на воротах Спасской и Боровической башен, а так же на Соборной и на Сенатской площадях появились государственные знаки: "На самокатах ездить запрещается".

Так и не удалось товарищу Берии подкатиться к Ольге, а товарищ Берия так до последнего часа на товарища Москаленко держал обиду, не простил.

Москва. Кремль. Приоткрылась дверь в кабинете товарища Сталина и, лукаво блеснув пенсне, вошел товарищ Берия.

– Можно? – спросил товарищ Берия.

– Жду вас, – с мягким кавказским акцентом сказал товарищ Сталин, снял очки и встал из-за своего рабочего стола.

Товарищ Берия сосредоточенно стоял у двери, а товарищ Сталин выколотил свою гнутую трубку, неторопливо сломал несколько папирос "Герцеговина Флор" и спокойно закурил.

Ничем не выдавая волнения, товарищ Сталин прошел несколько раз вдоль стола заседаний и негромко спросил Берию:

– Товарищ Берия, насколько мнэ известно... – он выждал паузу и пронзительно взглянул на товарища Берию: – приближается первое сентября... – и, не дав Берии ответить, продолжил: – Вы подумали о форме для Ольги?

– Так точно, товарищ Сталин, – негромко доложил товарищ Берия, – аппарат получил задание подготовить для нее "Форму-3".

Товарищ Сталин чуть успокоился и в уголках тигриных глаз вспыхнули добрые лучики морщин, он выпустил несколько клубов ароматного дыма, скрывших едва не засветившуюся улыбку на его изрытом оспинками лице.

– Я полагаю, – глядя на кончики своих мягких кавказских сапог, сказал товарищ Сталин, – Страна Советов может сделать для Ольги даже "Форму-1".

Через три дня на торжественной линейке в школе №174 Свердловского района города Москвы второкласснице Ольге, стоявшей в штопаных чулках и мешковатом платье, доставшемся от старшей сестры Лены, под звуки горна уполномоченный Особого отдела школы вручал "ФОРМУ № 1", допуск к материалам и сведениям особой секретности с правом выезда за границу.

Москва. Кремль. Тридцатого декабря в половине третьего ночи Поскребышев, как всегда, сидел за своим столом у входа в кабинет товарища Сталина. В приемной толпились, молчаливо переглядываясь, все члены Политбюро, кроме приболевшего в ту ночь товарища Шкирятова.

Неожиданно товарищ Поскребышев поднялся с места и, не касаясь пола, беззвучно исчез за дверью в кабинет товарища Сталина.

Прошло не более двух-трех секунд, как дверь медленно со скрипом растворилась и товарищ Поскребышев плавно вернулся на свое рабочее место.

— Все свободны, — ни на кого не глядя сказал товарищ Поскребышев и стал перебирать лежащие на столе списки с крестиками против фамилий видных деятелей партии и государства. — Товарищ Берия, вас ждет товарищ Сталин, — не поднимая головы от бумаг вдруг сказал товарищ Поскребышев.

Когда товарищ Берия вошел в кабинет товарища Сталина, он увидел вождя, стоявшего в мягких кавказских сапогах с привычной трубкой в полусогнутой правой руке и доброй усмешкой, притаившейся где-то глубоко в усах. Сталин стоял у стола заседаний, чуть прищурив глаза смотрел на вошедшего Берию, а на столе заседаний лежало пятнадцать листов цветной бумаги.

— Хорошо бы из этого матэриала, — Сталин плавно повел дымящейся трубкой над столом, — сделать гэрлянду на елку Ольге.

Берия быстро подошел к столу и внимательно оглядел цветные листы сквозь ледяно блеснувшие стекла пенсне.

— Я полагаю, товарищ Сталин, лучше было бы сделать цепи. Цветные.

— Хорошая мысль, — сказал товарищ Сталин, не отрывая глаз от бумаги. — Вэрная мысль, товарищ Берия. Давайте и на-

чнем, нэ будем откладывать, год кончается.

Товарищ Поскребышев беззвучно внес ножницы и клей.

Последнее сказание. Смерть вождя.

Состарился товарищ Сталин, почувствовал себя плохо и стал умирать. Позвал он своих самых близких, самых преданных, самых любимых учеников, чтобы утешить их и сказать, как жить дальше. Он лежал на своем любимом кожаном диване, на высоких подушках в простом полувоенном френче, из-под клетчатого пледа выглядывали мягкие кавказские сапоги. Мудрыми и добрыми словами утешил он своих безутешных учеников и сказал, как жить дальше.

Стали они по очереди подходить к товарищу Сталину с последним целованием, и для каждого находил он теплое мудрое слово, и отходили от него ученики со слезами на глазах и с радостью в сердце. Последним подошел самый любимый из любимейших, товарищ Берия.

И совсем уже жизни не осталось в вожде, и казалось никогда больше не разомкнутся его уста, но любовь еще раз победила смерть: притянул он к себе товарища Берию ослабевшими руками и сказал едва слышно: "Ольге не говорите..." и отошел тут же.

Много лет прошло, много зим. Много учеников, выпестованных им и взлелеянных, забыли его и отреклись от своего любимого учителя. Обласканные вождем лауреаты сняли с груди чеканный профиль вождя, а многие его заветы поглотила река забвения, но лишь один завет хранился свято даже после злодейского убийства товарища Берии.

Только 5 марта 1988 года узнала Оля о безвременной кончине товарища Сталина, узнала лишь тогда, когда новый кумир вытеснил из ее щедрого сердца образ вождя и всех его сподвижников и соратников в нелегкой борьбе.

Аминь!

А. Кушнер

* * *

Если правда, что Чехов с Толстым говорили впервые в пруду,
По колено в нем стоя, то как же Господь ерунду
Обожает, неважно, быть может, стояли по грудь.
Любо-дорого вот что: те мошки, та желтая муть,
Что со дна поднимается, бойкие те пузырьки.
Вообще вспоминается проза: плесканья, шлепки
По воде, – это в чеховском было рассказе уже.
И, наверное, Бог, улыбаясь, прозаик в душе.

Знаете, как в пруду говорят, уходя с головой
Под воду: "Ваш рассказ" – и нырок – "про жену и другой,
Про собаку" – нырок – "хороши, а досадно чуть-чуть,
Что нет общей идеи..." – "Простите, вам слепень на грудь
Собирается сесть..." и так далее. Мир мелочей,
Перетянутых в талии платьев, палящих лучей,
Золотых головастиков... Бог, разговором задет,
Не уверен, есть общая мысль у него или нет?

А. Волохонский

О ЖАНРАХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ

Следуют рассказы шкипера Мусы Хатаба, который передавал слова своего племянника, ставшего учеником знаменитого в квартале "Сынов Молнии", в Бней Браке рабби Тадмора.

Разговор происходил на кухне лабораторного строения, на берегу моря Галилейского, за чашкой кофе после пяти часов плавания в жаркий день 1984-го года, где-то пополудни, когда уже дул сильный западный ветер. Наверное это было в сентябре или в конце августа.

Муса Хатаб сам себя считает неверующим. Грузный и загорелый, лет пятидесяти шести, он не гнушается даже дикой свининой.

— Знаешь, — сказал он — я курю по субботам, я и в Судный День не пощусь, но на свете существуют необъяснимые вещи. Например, мой племянник был раньше простым тивериадским рыбаком.

Муса Хатаб и сам был раньше тивериадским рыбаком. Рыбаком был также его отец, вся их семья когда-то рыбачила. Но рыбный промысел тут занятие вовсе не идиллическое. У тивериадских рыбаков дурная репутация. Я помню, дама из Риги всплескивая руками говорила о другой особе помоложе:

— Она совершенно опустилась, курит какую-то дрянь, связалась с подонками общества, с этими тивериадскими рыбаками...

Говорят, наши рыбаки не брезгуют контрабандными благовониями, а иные льют яды в воду, чтобы погнать рыбу к себе в сети. А много ли поймает честный рыбак? — Два-три ящика в ночь. И на это он должен содержать семью... Но честные люди встречаются и среди тивериадских рыбаков. Таким был Муса Хатаб, таков был его отец, вся семья, все они были достойные люди, в том числе и племянник.

— Года полтора тому назад, — говорил Муса Хатаб, — мой племянник "вернулся к вере". И вот, он теперь рассказывает об этом рабби Тадмору. Рабби Тадмор говорит ему в Бней Браке: "Поедем к тебе, наловим рыбы". Племянник — он ведь рыбак — отвечает: "Конечно, поедем". Приехали. Взяли его лодку, плывут вдоль северного берега. Проходят Капернаум. Рабби Тадмор отвернулся, чтобы не смотреть на греческие кресты — там их церковь, белая, ты знаешь, — потом вдруг говорит: "Бросай!"

— Рабби, тут сроду не было рыбы! Рыба дальше, туда, ближе к Иордану.

— Говорят тебе — бросай!

И что же? Бросил и тут же вынул полную сеть. Через двадцать минут. Что ты на это скажешь?

В другой раз рабби Тадмор говорит этому ученику: "Набери полный ящик пустых бутылок, мне надо воды из источника Мирьям".

Ты знаешь, где источник Мирьям. Так он ему велел набрать пластмассовых бутылок из-под кока-колы два ящика. Считается, что там хорошая вода, в этом источнике.

Древняя легенда гласит, что источник Мирьям был создан еще до сотворения мира, вместе с другими необыкновенными вещами как-то: Огненный Куст, Жезл Ааронов и Червь Шамир. Когда сыны Израиля проходили пустыней Син, источник шествовал перед ними следом за Облачным Столбом и по вечерам они поили из него верблюдов. По окончании странствий источник Мирьям скрылся на западном берегу моря Киннерет севернее Ваал-Хамата, скрылся в озере напротив холма, где теперь руины дворца царя Агриппы и Береники, сестры его.

Муса продолжал.

Ученик взял пустых бутылок, и они отправились. "Здесь", — сказал рабби. Мой племянник взял одну из бутылок и сунул в глубину. "Подожди, я должен помолиться". И вот, представляешь себе, по мере того как он молился, источник стал подниматься к поверхности, затем встал над водой небольшим фонтаном, и ученику оставалось только подставлять горлышки под чистую струю.

— Скорее, скорее, — торопил Тадмор. — Я задержал дождь.

И действительно, сильнейший ливень разразился, едва они пристали к берегу. А источник Мирьям тем временем опустился понемногу и ушел на дно.

Сам не знаю, нужно ли верить всему этому, но племянник мой — честный малый, с чего бы ему вдруг врать.

— Ты можешь считать меня плодом вымысла, — говорил Авель, — но не себя и не Мусу. У тебя нет причин не верить рассказу твоего шкипера, а у него нет причин не верить рассказу племянника. И все же не будь эти истории приурочены к личности столь почтенного человека, каков был рабби Тадмор, вряд ли мы стали бы вообще их слушать. Ведь это просто рыбацкие истории.

— Рыбацкие истории, — подтвердил я.

— Рассказы тивериадских рыбаков. И действуя в современном духе, мы обязаны исследовать жанр как таковой, а там уж и решать, верить нам или не верить в чудодейственные способности этого или какого-нибудь другого учителя.

Авель намекал на Евангелия.

Ведь две евангельские истории — совершенно рыбацкие.

"И увидел он две лодки у берега, а рядом рыбаки мыли сети. Он сел в лодку Симона и говорит:

— Отплыви где поглубже и брось сеть.

— Рабби, мы тут за целую ночь ничего не поймали. Впрочем, если хочешь...

И они закинули сеть и поймали много рыбы. Даже сети рвались. Обе лодки наполнились рыбой, так что едва не потонули".

Другая история.

"В ту ночь опять ничего не поймали. А поутру он им с берега кричит:

— Ребята, поесть найдется?

— Нет, — отвечают.

— Ну так забросьте справа. Поймаете.

Забросили — и даже вытащить не могут. Так и поволокли за собой сеть с рыбой к берегу. А когда посчитали, оказалось сто пятьдесят три больших рыбины. Удивительно, как это сеть не порвалась".

Подобные истории будут рассказывать всегда, пока в мире существуют рыбаки. Жанр этот глубоко несущественный, рассказы записывают редко. Для того, чтобы такой рассказ приобрел значение, нужны отдельные усилия. Так некий богослов, пребывая в уверенности, что каждое слово Писания содержит бездонный смысл, решил исследовать число пойманных рыб методами гематрии. Подставляя числовые значения букв под разные их сочетания, он нашел, что выражение "Союз любви" на древнееврейском языке, о котором он имел известное понятие, дает как раз то, что нужно: сто пятьдесят три. Смысл прояснился. Жаль только, что община с таким названием нигде письменно не зафиксирована, разве, может быть, среди бая-

дерок. С другой стороны, обычные рыбаки, вовсе несведущие в гематрии, подсчитывают рыб у себя в уловах. Причина понятна: крупных рыб принято делить между ловцами по штукам.

Теперь сформулируем признаки жанра.

Рыбацкая история — дело глубоко единичное и частное. Она не претендует на обобщения. Вчера сеть бросали справа, завтра можем закинуть с кормы. Вчера поймали 153 штуки, завтра — если повезет — вынем все 207. В рыбацкую историю верят, если заслуживает доверия рассказчик. А если он лицо малопочтенное — над ним смеются.

Застольный разговор: "Поймали вот такую стерлядь", — показывает руками, какую стерлядь. "— Дайте, я встану, чтобы пропустить вашу стерлядь".

В литературу попадает ответ скептика, а не небывалых размеров стерлядь. Однако пусть этот жанр низкий, но он чрезвычайно устойчив. Охота, рыбная ловля — ведь дело везенья. Всегда найдется удачный случай, о котором стоит рассказать, если будет кому послушать. Это не мифы, которые готов слушать каждый.

Но и врачевание — дело столь же ненадежных случайностей. Один больной поправляется, другой помирает. Опираясь на этот принцип, можно рассматривать все вообще взятые по отдельности сообщения Евангелий как разного вида рыбацкие истории, образцом для которых послужили те две — о чудесных уловах.

"Во время плавания он заснул. На озере поднялся бурный ветер. Их заливало волнами. Разбудили его и сказали: Рабби, рабби, погибаем. А он сказал ветру: Стихни. И стало тихо".

В том, что касается исцелений, некоторое осложнение возникает из-за тогдашних теорий о происхождении заболеваний. Сейчас мы составили бы список сообразно диагнозу. Мы поделили бы их на чисто соматические (проказа — 11 случаев, слепота — до пяти случаев, кровотечение, водянка и лихорадка), психосоматические (двое расслабленных, сухорукий, согбенная) и чисто психические (изгнание бесов — до семи случаев). Мы могли бы рассуждать, что обаятельная личность и в наши дни могла бы исцелить несколько случаев из второй и третьей группы. Затем, возможно, мы встали бы в тупик перед проказой. Но в те времена все болезни приписывали действию злых духов, бесов. Для рассказчика глубокой разницы между ними не ощущалось — любого беса можно было изгнать. Поэтому действия Спасителя подпадали под общую теорию войны сынов света и сынов тьмы. Ныне, когда мы забыли эту ессейскую ересь, истории исцелений вернули себе свой изначальный рыбацкий вид.

"Одна женщина страдала кровотечением двенадцать лет. Много претерпела от многих врачей, истратила все, что у ней было и все без пользы, только стало ей хуже..."

Каждый из нас слыхал десятки подобных рассказов. Они интересны, главным образом, рассказчику, его ближайшей родне и слушателям, страдающим тем же заболеванием.

"Моя престарелая тетушка Эстер умирала от рака позвоночника. Ни рентгеновы лучи, ни гормональные препараты не могли задержать течения рокового недуга. Врачи исчисляли днями срок ее неизбежной кончины. Неоднократно и ранее предлагали ей мумие — горную смолу, тибетское народное средство. Я не суеверна — говорила она и отказывалась. Однако когда даже ей стало ясно, что могила не за горами, она решила попробовать".

А вот рассказ великого писателя нашего прошлого.

"Я так долго страдал раком и так плохо помогали мне врачи, что когда я услышал об издавна известном народном средства, об этом нарасте, грибе на березах, который называют березовым раком, то сразу подумал: — Отчего же это мне, русскому человеку, не поможет русское народное средство, настой гриба от русского дерева, русский березовый гриб..."

Не будь это наш великий писатель, кому пришло бы в голову слушать о пользе березовой каши? Но ведь тут не просто случай исцеления. Тут огромный миф о национальном дереве, которое спасает носителя национальной идеи.

Итак, не заурядные чудеса делают Христом сына назаретского плотника. Но одна только личность Иисуса превращает в чудеса рыбацкие рассказы. Вот это, пожалуй, дествительно чудо.

ПУШКИН:

— Мы все по большей части привыкли смотреть на поэзию как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин, напротив того...

Вл. Новиков

К ВОПРОСУ ОБ АДРЕСАТЕ ОДНОЙ ПУШКИНСКОЙ ЭПИГРАММЫ

(подражание любителям литературной топонимики и ономастики)

В настоящем исследовании мы проникнем в тайну одного из самых глубоких шедевров Пушкина, совершенно не понятого его ненастоящими исследователями.

В 1828 году наша национальная гордость написала много стихов: "Друзьям", "Воспоминание", "Дар напрасный, дар случайный...", "Анчар" и др. Так много, что мы можем некоторые стихотворения отсюда исключить. Например, "Поэт и толпа", цитируемое в книге А.Терца "Прогулки с Пушкиным", на самом деле Пушкину не принадлежит. Ну разве мог вскормленный Ариной Родионовной поэт написать: "Молчи, бессмысленный народ..."? Такие безнравственные и беспомощные в техническом отношении строки (чего стоит рифма "народ – "забот"!) могли быть сочинены разве что самим А.Терцем (как и приписываемые М.Ю.Лермонтову вирши "Прощай, немытая Россия..."). Рано прощаетесь с нами, господа! Мыться мы и дальше не собираемся.

Но вершина пушкинского духовного подвига в 1828 году – чеканные строки:

Amour, exil –
Какая гиль!

Так называемые пушкинисты упорно замалчивают это

произведение, скрывают его от народа. Оно даже не входит в школьную программу, и, как убедимся, не случайно.

Традиционно считается, что "amour" по-французски означает "любовь". Но, если подойти к этому слову как к русскому (а какое еще может быть у русского поэта?), то оно напоминает нам о могучей реке Амур. Амур же влечет за собой целый ряд названий сибирских рек:

АМУР
ЛЕНА
ЕНИСЕЙ

Возникает единый гидронимический фон. От слова "Лена" у Пушкина произведена фамилия Ленского, а у Бестужева-Марлинского есть персонаж по фамилии Ленин. Остается только вспомнить, кто отбывал ссылку (exil) в районе реки Енисей, в селе Шушенском.

Наша догадка блестяще подтверждается при обращении ко второй строке шедевра, причем на уровне не только гидронимическом, но и антропонимическом. Здесь мы в результате многолетних разысканий обнаружили фамилию шофера В.И.Ленина – Гиль, написанную с малой буквы и переведенную поэтом в женский род, по-видимому, в целях маскировки (ср. зашифрованные фрагменты десятой главы "Евгения Онегина").

Итак, в стихотворении "Amour, exil" идет речь не о ком ином, как о В.И.Ленине (1870-1924). Пора вернуть всеобъемлющему пушкинскому гению приоритет в творческом освоении и этой темы.

ПУШКИН:

– *4 мая* был я принят в масоны.

Игорь Померанцев

РУССКИЕ ЗАВЕТНЫЕ СКАЗКИ
Радиоинсценировка

Русские сказки я переработал для радио в расчете на английских радиослушателей БиБиСи-3. Даже собирался предложить знакомому радиорежиссеру сделать целый цикл "Эротика в фольклоре народов мира". Но до английской версии дело так и не дошло. Моему переводчику радиоинсценировка понравилась, но переводить ее он отказался: "Это не для протестантской страны с ее пуристским радио".

Поскольку Московское радио за осуществление радиоинсценировки едва ли возьмется, предлагаю ее читателям "Синтаксиса". Все же замечательно, что в сокровищнице национальной литературы есть книги, не проникнутые болью за человека, духовностью, нравственным пафосом.

ЛИСА И ЗАЯЦ

Звук капели. Бессвязное бормотание зайца. Он рад весне и солнцу.

ЗАЯЦ Пройдусь-ка по лесу... Загляну к лисе.

(неторопливый бег по тающему снегу)

ЛИСЕНОК (*возбужденно*) Маменька-лиса, к нам, никак, заяц катится.

ЛИСА Ну, коли подойдет косой да станет спрашивать, скажи, что меня дому нету. Ишь его черт несет! Я давно на него, подлеца, сердита. Авось теперь как-нибудь поймаю.

(тишина; стук в дверь)

ЛИСЕНОК Кто там?

ЗАЯЦ Я. Здравствуй, милый лисенок. Дома ли твоя матка?

"Русские заветные сказки" (Russian Secret or Forbidden Tales") были впервые изданы А.Афанасьевым в 1872 г. в Женеве. По цензурным соображениям они не были включены в "Народные русские сказки", изданные в России в 1855-1863 г.г. В СССР издавались дважды с существенными сокращениями и купюрами.

ЛИСЕНОК Ее дома нету.

ЗАЯЦ Жалко! Было еть – да дома нет!

(убегает по снегу)

ЛИСА Ах, он сукин сын, косой черт! Охаверник* эдакой! Погоди же, я ему задам зорю!

(слышно, как лиса разводит огонь, что-то напевает, позвякивает котелками. Стук в дверь. Тишина.)

ЛИСЕНОК Кто там?

ЗАЯЦ Я. Здравствуй, милый лисенок. Дома ли твоя матка?

ЛИСЕНОК Ее дома нету!

ЗАЯЦ Жаль! Я бы ей напырял по-своему!

(распахивается дверь)

ЛИСА Здравствуй, голубчик!

(Заяц кидается наутек. Лиса за ним. Прерывисто бормочет: "Нет, косой черт, не уйдешь!". По дыханию зайца ясно, что он совершает прыжок. Лиса за ним. Бег ее внезапно прерывается. Заяц тоже останавливается. Тяжело дышит.)

ЗАЯЦ Что, не проскочила, застряла между двух берез? Ни туды, ни сюды.

(Лиса пытается вырваться из западни)

Ну что ж, дело хорошее. Дай-ка я тут сзади к тебе пристроюсь. Во... А... *(Ритмично)* Вот как по-нашему! Вот как по-нашему! Вот как по-нашему!.. Так-то!.. Будешь наших знать!

(Убегает. Бежит. Останавливается.)

Ага, уголья... Ну-ка, вываляюсь в золе, настоящим чернецом сделаюсь. Так что и лиса меня не признает.

(Шорох, шелест)

Посижу, дух переведу.

(слышно, как кто-то приближается)

ЛИСА *(плаксиво)* Здравствуй, святый отче! Не видал ли ты здесь косого зайца?

ЗАЯЦ *(низким голосом)* Которого? Что тебя давеча еб?

ЛИСА *(верезжит)* Ах, он подлец! Уже успел по всем монастырям расславить!

---

* Охаверник (обл.) нахал, озорник.

ТЕЩА ПРИНИМАЕТ ГЛУПОГО ЗЯТЯ

Звон посуды. Накрывают на стол.

ТЕЩА Ну, садись, сыночек. Не побрезгуй. Накось, водочки выкуси.

(пьет)

Кушай, любезный.

(кушает, почавкивая)

А скажи-ка мне, сынок, какую животину у вас нонче к празднику били?

ЗЯТЬ Да вишь, мой батюшка перед самым праздником поймал суку в анбаре и так ее прибил, что она усцалась и усралась; насилу сука-то вырвалась, да бежать, а батька за нею вдогонку, нагнал ее у забора, как она лезла в дыру, да по пизде еще раз ударил!

(теща встает из-за стола, идет к печи)

ТЕЩА *(сама себе)* Ну, нажила себе умного зятя! Экое словечко сбухал!

Больше ничего не спрошу у него.

ИГУМЕНЬЯ И АРХИЕРЕЙ

(стук в дверь)

АРХИЕРЕЙ Кто такой?

ИГУМЕНЬЯ Я, игуменья, отче.

(архиерей встает, отпирает дверь, возвращается в постель)

АРХИЕРЕЙ Входи. *(входит)* Ложись-ка спать, игуменья, на постель.

(игуменья ложится; возня)

АРХИЕРЕЙ Что это у тебя?

ИГУМЕНЬЯ Это, святый отче, сионские горы... а ниже долы.

АРХИЕРЕЙ А это что?

ИГУМЕНЬЯ Это пуп земли.

АРХИЕРЕЙ А это?

ИГУМЕНЬЯ Это ад кромешный, отче.

АРХИЕРЕЙ А у меня, мать, есть грешник. Надо его в ад посадить!

РАЗЗАДОРЕННАЯ БАРЫНЯ

ОТЕЦ Что ты, сыночек, ничем не занимаешься?

ИВАН Еще поспею. Дай-ка мне сто рублей денег, да благослови на промысел.

ОТЕЦ Для промысла не жалко. Держи.

(Иван уходит, насвистывая)

ИВАН *(изумленно, сам себе)* Ну и ну, вот это красавица... одна... в саду.

БАРЫНЯ Что ты, молодец, стоишь?

ИВАН На тебя, барыня, засмотрелся: уж больно ты хороша. Коли б ты мне показала свои ноги по щиколотки – отдал бы тебе сто рублей!

БАРЫНЯ Отчего не показать! На, смотри! Насмотрелся? Давай сотенную.

(Иван, вздохнув, отдает сотенную. Возвращается домой, насвистывая.)

ОТЕЦ Ну, сынок, каким товаром занялся? Что сделал на сто рублей?

ИВАН Купил место да лесу для лавки. Дай еще двести рублей: надо заплатить плтникам за работу.

ОТЕЦ На такое дело не жалко. Держи.

(Иван уходит, насвистывая. Останавливается возле сада. Тишина.)

БАРЫНЯ Зачем, молодец, опять пришел?

ИВАН Пусти меня, барыня, в сад, да покажи свои коленки. Отдам двести рублей.

БАРЫНЯ Ну что с тобой делать, заходи. Закрой глаза... Теперь открой.

(Тишина)

Ну, хватит, насмотрелся. Давай, что обещал. А теперь ступай.

(Иван возвращается домой, насвистывая)

ОТЕЦ Что, сынок, устроился?

ИВАН Устроился, батюшка. Дай мне триста рублей, я товару накуплю.

ОТЕЦ На такое дело не жалко.

(Иван уходит, насвистывая)

Дай-ка, схожу, посмотрю на его торговлю.

(выходит, идет на расстоянии за сыном. Иван, насвистывая, подходит к саду)

БАРЫНЯ Зачем, молодец, опять пришел?

ИВАН Не во гнев тебе, барыня, сказать: позволь поводить мне хуем по твоей пизде, я за то дам тебе триста рублей.

БАРЫНЯ Ну... ладно. Заходи. Только деньги вперед.

(шорох сбрасываемой одежды, возня, хихиканье)

Ой, щекотно!

(хихиканье)

Пожалуйста, ткни в серединку, ткни!

ИВАН Мне дозволено только поводить.

БАРЫНЯ Все деньги тебе назад отдам.

ИВАН Не надо.

БАРЫНЯ Я у тебя шестьсот взяла, а отдам тысячу двести, только ткни в серединку!

ОТЕЦ *(издали)* Бери, сынок! Копейка на копейку хороший барыш!

(барыня испуганно вскрикивает и убегает)

ИВАН Эх, ты, старый хрен!

ВОШЬ И БЛОХА

ВОШЬ Здорово, блоха!

БЛОХА Здорово, вошь!

ВОШЬ Ты где, блоха ночевала?

БЛОХА Да у бабы в пизде. А ты где?

ВОШЬ Тоже у бабы, только в жопе. Ну что, каково спалось?

БЛОХА Уж не говори! Такого страху набралась. Пришел ко мне какой-то лысый и стал за мной гоняться, уж я прыгала, прыгала, и туда-то и сюда-то, а он все за мной, да потом как плюнет на меня и ушел!

ВОШЬ Что ж, кумушка, и ко мне двое всю ночь стучались, да я притаилась. Они постучали себе — постучали, да с тем и прочь пошли.

ДОБРЫЙ ОТЕЦ

СТАРИК *(потягивается со сна)* А что, старуха, рано ли ночевщицы, дочкины подружки, от нас ушли?

СТАРУХА Какие ночевщицы? Девки еще с вечера все ко дворам ушли.

СТАРИК Что ты врешь! А кого ж я на казенке-то* дячил?
СТАРУХА Кого? Вестимо кого: знать большую дочуху.
СТАРИК *(хохоча)* Ох, мать ее растак!
СТАРУХА Что, старый черт, ругаешься!
СТАРИК Молчи, старая кочерка! Я на дочку-то смеюся. Ведь она лихо подъебать умеет!
СТАРУХА Ведь ей стыдно не подъебывать-то. Люди говорят: девятнадцатой год.
СТАРИК Да правда! Евто ваше ремесло!

НЕТ

Скрип подъезжающей кареты. Возглас кучера "Тпрру!" Карета останавливается.
СЛУГА Барин! Пожалте! Карета подана!
(по лестнице к карете спускаются двое)
БАРИН *(голос человека в летах)* Послушай, милая! Теперь я уезжаю ненадолго от тебя, так ты никаких господ не примай к себе, чтоб они тебя не смутили... А лучше вот что: кто бы тебе не сказывал – отвечай все "нет" да "нет"... Ну, с Богом!
(поцелуи, скрип кареты; барин кричит издали)
Тепереча... иди в сад... там... покойно...
(барыня поднимается по лестнице и сквозь усадьбу направляется в сад. Щебет птиц. Жужжание пчелы. Глухое кукование кукушки. Едва-едва различимый цокот копыт)
БАРЫНЯ *(судя по голосу, молодая)* Ой, Боже праведный!.. Офицер... на лошади... с саблей.
(цокот приближается)
ОФИЦЕР Тпрру!... Скажите, пожалуйста, барышня, какая это деревня?
(пауза)
БАРЫНЯ *(робко)* Нет.
ОФИЦЕР Гм... А ежели... я с лошади слезу... и привяжу ее к забору... ничего за это не будет?
(пауза)

---

* Казенка (обл.) – лежанка.

БАРЫНЯ *(робко)* Нет.

(спрыгивает с лошади, привязывает поводья)

ОФИЦЕР А если взойду к вам в сад... вы не рассердитесь?

БАРЫНЯ *(робко)* Нет.

(залезает на забор, прыгает в сад)

ОФИЦЕР А если я с вами стану гулять – вы не прогневаетесь?

БАРЫНЯ *(робко)* Нет.

(идут рядом; щебет птиц)

ОФИЦЕР А если поведу вас в беседку – и это ничего?

БАРЫНЯ *(робко)* Нет.

(входят в беседку)

ОФИЦЕР А если я вас положу... и сам лягу – вы не станете противиться?

БАРЫНЯ *(робко)* Нет.

ОФИЦЕР А... если я вам заворочу подол – вы, конечно, не будете сердиться?

БАРЫНЯ *(робко)* Нет.

(шорох)

ОФИЦЕР А если я вас да стану еть – вам не будет неприятно?

БАРЫНЯ *(робко)* Нет.

(ритмичная возня)

ОФИЦЕР *(отдышавшись)* Вы теперь, барышня, довольны?

БАРЫНЯ *(чуть слышно)* Нет.

ОФИЦЕР Ну, когда нет, надо еще еть.

(ритмичная возня)

А теперь ...довольны?

БАРЫНЯ *(чуть слышно)* Нет.

(офицер возмущенно бурчит, плюет в сердцах и уходит. Щебет птиц. Жужжание пчелы. Глухое кукование кукушки.)

СЛУГА *(издали)* Барыня, барин воротились. Велели вас в дом кликать.

БАРЫНЯ *(сквозь зубы)* Нет.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В. Линецкий. О русском национальном патриотизме 3
Елена Дьякова. Лето восемьдесят четвертое 18
Г. Померанц. В поисках святыни 19
М. Горелли. Вселенские козявки 25

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Макс Вебер. Переход России
к псевдоконституционализму 29

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Семен Лунгин. Тени на асфальте 58

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Татьяна Толстая. Лимпопо 75
Елена Ушакова. Стихи 122
Д. Добродеев. Жид в Союзе 124
Сергей Шац. Как я пишу и др. 130
Андрей Чернов. Остров на прибрежьи 139
Георгий Ефремов. Воля 161

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

А. Битов, Р. Габриадзе. Свободу Пушкину! 167
М. Кураев. Как это было... 176
А. Кушнер. Стихи 185
А. Волохонский. О жанрах евангельских историй 186
Вл. Новиков. К вопросу об адресате одной
пушкинской эпиграммы 191
Игорь Померанцев. Русские заветные сказки 193
А. Пушкин. Избранное 74, 166, 190, 192

Цена номера 70 фр. фр.
Подписка в редакции на 4 номера – 250 фр. фр.
Пересылка за счет подписчика

M. R.